ВАСИЛИЙ СУББОТИН



ПЕРВАЯ КНИГА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»





Наташа.
Коля!
Поздравляю тебя
с 23 февраля!

ВАСИЛИЙ СУББОТИН

ПЕРВАЯ КНИГА

РАССКАЗЫ



Художник В. Лыков

МОСКВА
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1977

Р2
С89



С $\frac{70802-563}{М101(03)77}$ 201—77

Состав. Иллюстрации.

Василий Субботин никогда не писал специально для детей, но его рассказы написаны таким простым, ясным языком, что могут быть так же свободно прочитаны детьми, как и взрослыми. Из этой книги ты узнаешь, как автор, когда он был маленьким, первый раз увидел волка, встретил змею. Это очень маленькие, короткие истории про животных, про птиц, про то, какие удивительные волшебные огоньки загораются иной раз в кустах в солнечный день после дождя, про водолазную туфельку, которая лежит на берегу большого степного моря... Про всякие другие удивительные и забавные случаи. Есть в этой книге также рассказы о детях, о поездках по родной стране, о путешествиях в далёкие земли...





ПЕРВАЯ КНИГА

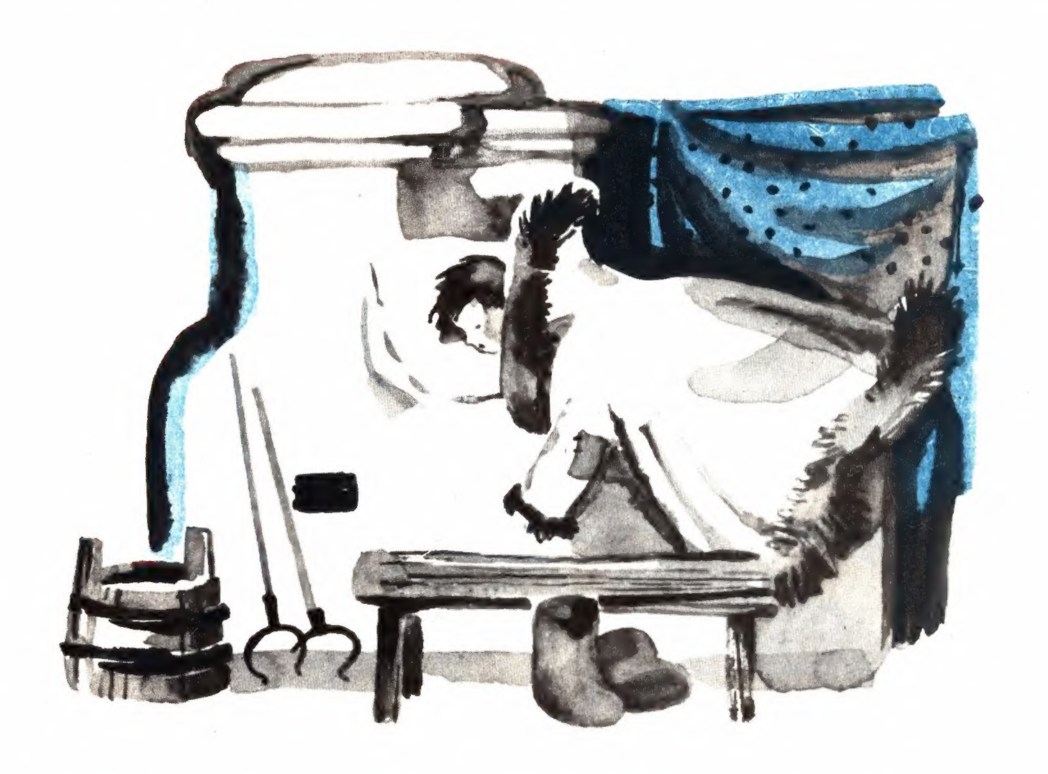
Отец с утра уехал в город. Или это я думал, что в город. Может, он ездил в село, ближайшее от нас. Я ещё не понимал — куда. Я только знал, что уехал и что на этот раз он привезёт мне не увитую цветной ленточкой конфету и не мячик резиновый. Эта радость уже была мной испытана... Отец сказал, уезжая, что привезёт мне книгу.

Один такой день на всю жизнь бывает! Забравшись на печку, я подлез под дырявый старый тулуп и спрятался... Лежал и думал, что такое мне привезут?..

Ни одной книжки у меня пока не было.

Это был трудный день для меня... Я думал, отец приедет скоро. Я не понимал ещё, где этот город — далеко он или близко.

Но время шло, а отца всё не было. И я опять лез под



тулуп и закрывал глаза, чтобы мне быть наедине с моей книгой. Я мысленно держал уже её в руках. Я думал, что она будет как букварь, по которому я научился читать. Но только толще. Толстая настолько, насколько толстой может быть книга.

О многом я собирался из неё узнать: и про море, и про вулкан. И про пустыню. И обязательно про животных, про разные страны.

Я придумал очень интересную книгу.

Давно уж выстыло в избе, давно был вечер. Я сидел на остывающей голой печи и видел, как побелело окно в избе — меркло и покрывалось слоем белой наледи. Мать подоила корову и наносила дров...

Когда я проснулся, то было светло, и было уже утро. Как вчера я ни крепился, как ни боролся долго со сном, а всё-таки я заснул.

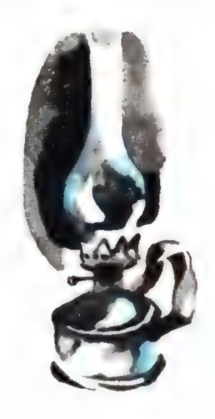
Отец меня не обманул, привёз... И даже не одну, а целых две... Но какие они были маленькие! Одна, тоненькая, жёлтенькая книжечка с картинками,— про первобытного человека, про то, как он охотился. Другая, в переплёте, но такая же тоненькая, про черепаху... Нет, не про черепаху, а про портных. В ней и стихи были: «Наши-то портные — храбрые какие!..» Как портные шли, шли, встретили большую черепаху и уселись на неё. Думали, что это камень. Потом увидели: черепаха! — и перепугались...

Теперь я знаю, чем я был огорчён.

Книжки были хорошие, и мне их хватило надолго. Но совсем не про то...

Я не хотел себе двух книг, я хотел одну — с картинками или без них, но обязательно толстую: чтобы она никогда не кончалась, сколько её ни читай... Которая рассказала бы мне, деревенскому пареньку, обо всём, о чём я не знал: о мире, что лежал за околицей нашего посёлка — за берёзовой его загородкой...

Я вырос, прочёл много книг, но той так и не встретил. Часто теперь я, посмеиваясь над собой, вспоминаю, как сидел я на нашей печке и видел уже в руках своих книгу... Я о ней не забыл. Только она всё больше менялась, всё больше росла. Она должна была уже рассказывать не только про жаркие страны и не только про обезьян. В ней была уже и война, о которой я тогда ещё не знал... Чтобы прочесть такую книгу, надо было много повидать. Надо было прожить жизнь.



Она у каждого своя, эта книга...

Я до сих пор вижу того нетерпеливого паренька... Как скачет он босым по холодному полу избы. Как подбегает к окну, влезает на лавку и, подышав на стекло, расчистив зеркальце, смотрит: не едет ли?

Всё ещё она живёт у меня в памяти, эта книга... Не та, которую получил, а та, которую выдумал.



СНЕГУ НАВАЛИЛО

Как ни странно, но это одно из самых первых сильных впечатлений... Что же тут удивительного: я рос не в городе, не в деревушке даже, а в починке. Починок, или посёлок этот наш, стоял в лесном глухом углу. В тайге.

И надо сказать так: я долго ещё — даже когда и школу окончил — не имел понятия о горизонте. Даже не знал, что это такое — горизонт... Вот как люди не знают моря. Или всю жизнь живут в степи и не видели никогда леса. Они могут его лишь вообразить... Но сколько я себя помнил, вокруг меня всегда был лес, и как бы это я ни старался, я не мог бы представить себе, что за горизонт такой. Как это всё земля, земля, и вдруг она кончается... Горизонт! Всё, что для меня существовало,— синяя, а чаще — серая невысокая крыша.

Небольшой клочок света и неба над вершинками деревьев. Как в дымоходе...

Так было и в том — совсем маленьком посёлке, где я жил, и в деревне — побольше, где я учился и куда ходил, пробираясь по малой тропе через большое, труднопроходимое болото.

Всюду — лес.



Но, конечно, были и в лесу у нас небольшие прогалы. Полянки. Да и пашни у нас были — полоски земли раскорчёванной, освобождённой от леса, от деревьев. Пшеница, кажется, росла хорошо... Да ещё лён.

Вот лён этот и убирали мы с матерью.

Это уж осенью было, поздней осенью. Мать расстелила лён за посёлком, на выгоне для скота. Накануне расстелила, а в ночь выпал снег и всё завалил. Пришлось его нам из-под снега выгребать.

А снег большой, толстый — много навалило его! Мы делали так. Я скатывал ком и катил его по ряду, по льну. За спиной у меня оставалась дорожка, чистая... Когда ком становился большим настолько, что я не мог уже с ним сладить, я старался отвалить его в сторону. Но комы были больше меня...

Погода стояла тихая, без ветра. Сначала от снега у меня мёрзли руки, но скоро я весь взмок. Руки у меня горели.

Мать собирала лежащий на земле, высвобожденный мною лён и связывала его в снопики...

Так мы проработали чуть не полдня и выскребли почти что весь наш лён... Я их много накатал, этих комов.

Чем больше я их катал и чем больше мы работали, тем тяжелей становился снег... Неожиданно появилось солнце, и под деревьями стала понемногу обнажаться земля.

Мы с мамой очень устали, спины у нас болели. Когда я распрямил свою уже совсем занемевшую спину, увидел — собака бежит... Она бежала под деревьями, среди леса... Большая. Серая. В нашем посёлке такой не было.

Я на неё крикнул. Она остановилась, оборотилась ко мне и, поджав хвост, побежала дальше. Но не очень торопилась.

Мать тоже глядела из-под руки.

Опять мы принялись убирать наш лён, связывать его в снопы... Снег становился всё тоньше: от тепла ли, от солнца ли, он быстро таял. А когда мы закончили работу, он совсем сошёл на нет.

Только кое-где ещё в ямках остался.

Пониже повязав платком голову, мать сказала мне:

— Давай теперь опять стелить будем. Видно, не зима ещё.

Я чуть ли не заплакал. Столько мы трудов положили, чтобы выручить ленок наш из-под снега, и вот начинай всё сначала... Мы опять стали расстилать наш только что собранный лён, небольшими тонкими прядями раскладывать его по земле. И, когда стелили, мать мне сказала:

— Вась, а ведь это волк был. Я тебе не хотела говорить...

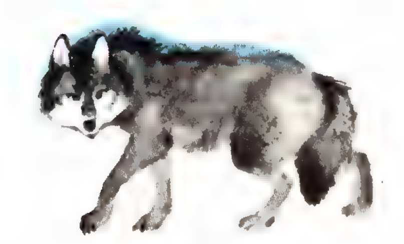
Да неужто волк? Ах, кабы знал я, что волк! Я бы на него получше поглядел... Я всё приставал к матери — вправду ли волк? Всё никак поверить не мог.

Хоть и в лесу рос, а в первый раз видел волка.

Я очень устал и, когда мы домой возвращались, еле ногами передвигал.

Но зато хоть волка видел.

И хоть трудный был день, но хороший!





СЕРЫЕ

Ещё одно, очень памятное для меня воспоминание.

Дело уж к осени было.

Отец меня впервые взял на пашню. Когда мы приехали, он впряг коня нашего в борону и усадил меня на него. И я впервые начал боронить.

Сидя на покойной, широкой, как печь, спине нашего Егорки, я бойко из конца в конец гонял по свежей пахоте и даже пытался что-то петь... Шутка ли: меня не только посадили на лошадь, а и доверили настоящую взрослую работу!

Отец же с телегой оставался на дороге. Он что-то там делал.

Сначала всё у меня шло хорошо. Егорка меня слушался. Он вообще был очень чутким...

Я на первых порах, правда, криулял, как у нас говорилось, ездил неровно, отчего один след у меня не сходился с другим. Но постепенно я приноровился, и у меня стало получаться намного лучше.



Однако же время близилось к вечеру, и Егор мой, видимо, устал: он охотно возвращался к дороге, где стояла у нас телега, и — всё неохотнее — к лесу. Участок пашни у нас здесь почти вплотную подходил к заросшему частым березнячком болоту.

Чтобы мне легче было управляться с конём, отец, когда я к нему подъехал, дал мне крепкий берёзовый сук.

Продолжая подсвистывать, я ездил туда-обратно, но всё трудней было мне заставить Егорку идти к лесу. С каждой минутой он становился непослушней. Он переступал с ноги на ногу, упрямился и норовил повернуть назад. Раньше, чем мы достигали болота. Он всячески сопротивлялся, а у меня не хватало в руках силы с ним справиться... Он дёргал, борона скакала по пашне, а он даже моего берёзового сука не слушался. Зато с какой быстротой поворачивал, когда нам удавалось достигнуть края пашни.

Всё же, когда я делал последний круг — совсем стемнело,— он так и не дошёл до леса, а, повернув где-то среди прогона, скоком помчался назад. Я чуть с него не свалился.

Когда же мы подскакали к дороге, отец, до того занятый, а в эту минуту чем-то сильно обеспокоенный, помог мне слезть и спросил меня:

— Ты что, ничего не слышишь?

И уши у меня проткнулись. Я вдруг услышал то, что должен был слышать намного раньше... Как они выли! На разные голоса. Старые — густо, протяжно; молодые — подвывая им... Помолчат и опять завоют.

Мы запрягли, поскорее погрузили борону в телегу, и Егорка рванул. Телега сейчас же затарахтела по затравеневшей дороге. А они вслед нам сильней ещё начали выть.

Подбрасываемый в телеге, я понял наконец, почему артачился мой Егорка. Я вспоминал, как старался во что бы то ни стало заставить лошадь подойти к краю поля. И я уже видел всю их стаю — как сидят они один возле другого — в нескольких шагах от меня. Горячие, в темноте среди болота, угольки.

Большие, маленькие.



ГАДЮКА

Посёлок был совсем маленький — десяток изб, и кругом лес... Даже огород и тот в лесу, среди деревьев. Место это, сразу позади избы, называлось Лужком или Лужками. В этом Лужке, за грядками — их было две или три,— и за узенькой полоской овса и ржи, высеваемых поочерёдно, была у нас старая, ежегодно зарастающая лебедой угольная яма. За нею поднимались одинокие мелкие берёзки и осинки, а уж далее, за ними, настоящий лес.

Я направился в эти Лужки... Земля уже прогрелась и пахла первыми цветами. Среди жёсткой, колючей скошенной прошлогодней травы и первых редких зелёных травинок белели обломки распадавшихся и уже сгнивших толстых берёзовых сучьев. Они были пустые внутри. От них оставалась одна полая берёстовая кора... Хорошо было ступать босой ногой.

И вот я шёл, ступал так и у самой этой угольной ямы наскочил на змею. Это была гадюка... Я чудом только на неё не наступил. Она лежала в ряд с таким вот берёстовым берёзовым суком. Грелась... Я чуть на неё не наступил. Я так испугался! Но и она тоже испугалась и отвильнула в сторону и в то же мгновение мелькнула мимо моей ноги... Она — промахнулась. Может быть, потому, что я успел отскочить... Когда я пришёл в себя, то увидел: гадюка, вжимаясь в землю и извиваясь, вроде бы переворачиваясь с боку на бок, уползала по редкой, не успевшей ещё вырасти траве.

Я хорошо помню тот испуг, который я пережил.

С безумно колотящимся сердцем я перелез изгородь, отделяющую деревню от леса, от пашни и от огородов, подбежал к моим товарищам, к ребятишкам, игравшим здесь же, и всё им рассказал. С ними были и парни постарше. День был воскресный, и они собирались пойти за деревню, стрелять из большого старого дробовика.

Я думал, они не пойдут. Но они тут же, довольные, что нашлось какое-то занятие, отправились за мной.

Я сразу отыскал место, где я на неё наскочил. Это было возле угольной ямы.

Никакой змеи не было.

Все повернули обратно. Мне стало совестно, что я зря сюда привёл. Могли ещё подумать, что я всё наврал. Но меня кто-то выручил, сказав, что змея могла заползти в поленницу. Действительно, между двух берёз, чтобы дрова не распались, недалеко от этой угольной ямы, была сложена поленница дров.

Мы все с радостью принялись её разбирать.

Большие парни брали два и даже три полена, а мы — те, кто поменьше,— по одному. Дрова были тяжёлые, берёзовые, намокшие, заготовленные ещё с прошлого года, и мы с трудом ссаживали их сверху.

Старая поленница постепенно таяла, а рядом, метрах в десяти, росла новая...

Чем меньше дров оставалось в той, прежней поленнице, тем осторожнее мы её разбирали.

Мы брали всё осторожнее. А так как именно я столь неожиданно перед этим встретился со змеёй, то теперь за каждым поленом, за которое я брался, мне виделась змея.

Дров оставалось уже совсем мало, когда я, схватив одно небольшое полено, тотчас же его выпустил.

Она под ним и лежала.

Все сразу её увидели: свернувшись в кольцо, она лежала на полене и вдруг скользнула на землю, в траву.

Она всё-таки ушла. Кто-то испугался и не наступил на неё. И она ушла, ускользнула...

Я потом боялся ходить к этой угольной яме.



В СТУЖУ

Я в то утро поднялся чуть свет и пошёл дров наколоть. Зимы у нас большие, долгие, и морозы большие, но дома мне никогда не сиделось. Я был ужасный зимогор!

Шубу мне тогда только что справили, шапку. Надел я шубу, шапку, рукавицы надел отцовские... Оделся и вышел.

Мать к тому времени уже печь затопила.

В сенях взял я топор. Был у нас колун. Это, знаете, такой топор — клином. Очень тяжёлый.

И вот выхожу за дверь. Светло у нас стало, тихо. Мороз ядрёный. Бело во дворе. Деревья, берёза наша, родная, та, что у крыльца стоит, вся в инее. Я глянул на колун, на этот топор на длинном топорище, а он тоже — весь белый. Как молоком облитый, весь — в инее... И всё холодное такое. Одно топорище только тёплое.

Я со ступеней ещё не спустился, как стоял, тут и поднял колун к лицу. Он был такой синеватый весь, страшный... Как только я увидел этот иней, я не утерпел и лизнул его. Не понимаю, что со мной сделалось. Ведь знал, что нельзя, но такое тут на меня искушение напало. Не мог удержаться и, как собака, лизнул. Языком лизнул. Я только чуть притронулся.

И тут же я понял, что случилась беда. Язык мой мне стало вытягивать... Меня притянуло за язык к железу. Я даже кричать не мог.

Так я через тёмные сени с этим топором и пришёл в избу.

Я только мычал. Мне казалось, что меня всё сильнее и всё сильнее притягивает... Мать, должно быть, ничего не поняла сначала. Я ведь только что на улицу вышел. Хотел дров наколоть, а вот вхожу с колуном перед носом. Она сразу кинулась к печи. Там у неё вода горячая была в чугуне. Она сразу зачерпнула ковшом горячей воды и стала лить её на топор.

Я долго не мог говорить. Язык мой был болен. Мама его подсолнечным маслом смазывала.

Пол-языка у меня на топоре осталось.

А у меня, знаете, раньше дефект такой был: я трудное «р» не выговаривал. Друзья мои надо мной смеялись... Я долго болел. А тут, знаете, когда всё у меня прошло, я так рычать стал. Случай, конечно, но, оказывается, приварив свой язык к заиндевевшему топору, я эту перепоночку, что под языком у нас, которая у нас язык держит, разорвал. И на другое утро заговорил совершенно свободно.

Должно быть, это и правда: каждый должен хоть раз да испытать на себе — лизнуть или топор, или скобу дверную. Без этого не бывает.





ДОРОГА В ШКОЛУ

Настал день, когда я пошёл в школу. Я ходил через болото. Мне пришлось кружить по тропе через большое торфяное болото. Зимой оно замерзало и через него даже ездили на лошадях, но летом, весной и осенью пройти его можно было только пешком.

Я выходил рано, иногда ещё до рассвета. Мы ходили вместе с одной девочкой. Сначала выходили из ворот нашего посёлка, затем поворачивали направо. Тут у нас, как выйдешь за эту загородку, место, где рожь молотили. Солома в скирды сложена. А потом всё прямо вдоль ободранного ольшаника. А там и пашни начнутся, и березняк, который чем ближе к болоту, тем мельче и мельче. И вот оно начинается, само болото.

Рядом с этой тропой, по которой мы пробирались, было много «окон». Это ямы такие, в которых таилась обыкновенная, зацветающая, подёрнутая ряской, прозеленевшая вода. Обыкновенная на вид лужица! А как ступишь в неё, так и дна не достанешь.

Они и зимой не промерзают, эти окна.

Закутанный в мамину шаль, я шёл через болото, через



болото, где выли волки. У, как я боялся!.. Сумка, что была надета на мне, была холщовая. Мне мама её сшила. Главное, мне всё время надо было смотреть под ноги, всё время надо было идти по тропе.

Я, маленький, шёл через болото в школу.

Я по тропе шагал всё время. Ещё мне дома сказали, чтобы я никуда не сворачивал, иначе я утону... Сразу за лесом и за болотом место сухое. Как перейдёшь болото — свет, сухое место... Потом ещё вытоптанное пастбище и кряжистые, разросшиеся во все стороны берёзы. А ещё немного пройдёшь, и вот она, моя школа!

Здесь и сосны были, а там у нас одни берёзы, берёзы да осины... Мы за болотом жили, среди берёзок и осин. Место — низкое.

В темноте только из школы трудно было идти. Зимой рано темнело...

Так я и ходил каждый день по этой тропинке в школу.

МЕДВЕЖОНОК

Я сидел у окна, отца с матерью поджидал. По зимам они уходили на целый день в лес, пилить дрова, оставляли меня одного.

Это было трудно — ожидать, когда они вернутся. Иногда, вечером, я не выдерживал и подбегал, кричал в печку, в трубу: «Мама! Приходи скорей!..»

Однажды, когда я вот так, оставшись один, сидел и смотрел в окно, я увидел: медведь ко мне в окно лезет!

Молодой, но уже не маленький медведь. Чёрный весь.

Сразу я понять не мог даже. Место у нас, правда, глухое. А всё-таки чудно́, что медвежонок этот ко мне в окно лезет. Лапу вверх поднял, когтями по стеклу задевает: видно, никак на завалинку не встанет, ухватиться ему не за что.

Разобьёт он, думаю, нам раму.

Забрался он всё-таки. Морду поднял, пасть раскрывает — она у него красная — и в окно смотрит.

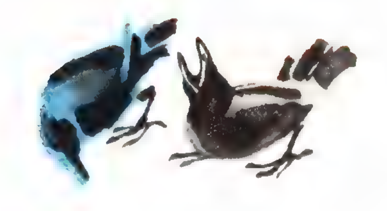
Я в сторонку отошёл.

Он видит, никого в комнате нет, и давай — оттепель была,— давай сосульки с наличника обламывать. Лапой держится, лапой сосульку ломает. Отломил, в рот кладёт. Хрустит сосулькой, как леденцом, а сам всё в окно смотрит... Много он этих сосулек съел. Головой мотал — видно, нравились они ему.

Он, оказывается, за этими сосульками и лез. Нарочно за ними из лесу шёл. Пить захотел!

Очень я напугался... Что это он под окнами зимой бродит?

Известно, у страха глаза велики... Да тем более, когда один в избе остаёшься.





ВЕСНА

Зима — отступила.

Река, когда я подошёл к ней впервые, разломанная, сильная, гордо катила свои воды и дышала свободно. По её быстрине только изредка плыли тихие, разрозненные, небольшие льдины-одиночки.

Поля лежали голые, вытаявшие. И поля, и леса — всё обнажилось...

Всё сошло, и река уже окончательно освободилась ото льда, кроме одной, стоявшей в тени ольхи, в берег уткнувшейся льдины.

Застряла только одна эта последняя. Грязная, натоптанная льдина. Она никак не хотела уходить...

В полдень вода в реке прибыла, и течение потянуло её. Она даже стронулась с места, но сразу же остановилась.

Река тащила её, но она упиралась. Как видно, за что-то зацепилась. Может быть, её держала снизу осока или она села на мель.

И тогда смотревшие ледоход люди стали помогать реке... Всем хотелось толкнуть старую эту, застрявшую тут льдину.

Каждый действовал чем мог. Кто палкой. Кто багром. А кто обычной жердью.

Я тоже её толкнул.

Не скоро, но нам удалось и раскачать и сдвинуть её с места.

Льдина медленно отворачивала от берега. Сначала ушла под воду, потом всплыла. И, подхваченная течением, пошла.

Огромная, неповоротливая, она уходила на середину реки.

Будто два берега разошлись и один стал удаляться.



ОГОНЬКИ

В один весенний солнечный день мы были в прибрежном приморском селенье и, когда шли по улице, вдруг увидели синюю каплю... Для меня-то это знакомо, а те, что со мною шли, её ещё никогда не видели.

Как же в первый раз её я сам увидел?

Если не забыл я, в Истре это было. Весна бурная была, всё таяло уже. Таяли снега... Молодые, тонкие, согнутые в дугу, с примёрзшими к земле вершинками, берёзки ещё не распрямились.

Я шагал по дороге. Каждый день я ходил по ней, по этой дороге.

Солнце склонялось всё ниже, шло на закат... И вот тут я вдруг увидел, как в кустарнике, в метрах десяти засветился маленький синий огонёк. Как пылающий уголь.

Я стоял и не двигался с места. Прямо на глазах моих уголёк этот всё разгорался. Из синего он превратился в зелёный, потом — в красный и — опять в синий. Всё время менялся. Иногда почти уже потухал, но потом опять вспыхивал.

Я боялся спугнуть его, даже дыхание затаил — боялся, чтобы этот непонятный огонёк не исчез.

Потом, медленно ступая, не сводя глаз, шаг за шагом я стал приближаться к кусту и осторожно раздвинул ветви.

Никакого огонька не было.

Я внимательно оглядывал каждый листок, каждую ветку, но ничего так и не нашёл... Только там, где горел этот огонёк, с кривого сучка свисала капля дождя... Обыкновенная белая капля.

Я в первый раз долго не хотел верить, что я и впрямь видел эти волшебные огоньки.

Но после, в Берёзовке, опять наткнулся на неё, на эту изумрудную и рубиновую, бриллиантовую меняющуюся каплю. На этот раз в каком-то можжевеловом кусту. Так же как в первый раз, крадучись, я стал подбираться к ней. Но это оказалась капля смолы. Потом, в третий уже раз,— в лесах под Москвой, когда я собирал грибы.

Что это за огонёк такой и что нужно, чтобы увидеть его?

Капли для этого недостаточно...

Для этого: первое — необходимо удачное сочетание тени и света; второе — солнце должно быть яркое, и третье — надо смотреть против солнца — зайти к этой капле с противоположной от солнца стороны.

Только тогда этот огонёк будет гореть.

...Не все его видят.





ЛОСИ

Я ведь их так и не видел ни разу у нас в Зауралье, хотя лоси там водятся. Когда же с войны вернулся и было голодно очень, я не раз ел мясо лосиное. Мужики таскали потихоньку из лесу.

Но даже и шкуры сохатого я не видал.

В Перми, где я до войны учился, однажды, последней предвоенной зимой, лось переплыл Каму и зашёл в город. Не знали, что с ним делать, и все были встревожены... Никого не хотел слушаться. Встал посреди улицы и перегородил всё движение. Пришлось его милиционеру задержать. Хотели его доставить в зоологический сад, но он свалился и умер. Испугался городского транспорта.

Об этом даже и в газетах писали...

Это случается и случалось: лоси заходят в города, особенно сейчас, когда города столь быстро застраиваются. В Москве у нас, не далее как в прошлом году, лось

заблудился. Тоже в новом Юго-Западном районе дня три в зоне старого леса ходил. Выйти никак не мог. То на Университетском появлялся, то на Ломоносовском.

Но и этого лося я не видел.

И вот, недалеко под Москвой было, пошёл прогуляться. Весной... Всё уж растаяло, но сильная ещё капель держалась. Канавы с верхом были наполнены чёрной торфяной водой.

Мы с товарищем, помню, были... По асфальтовой дороге шли, по шоссе, с полкилометра, наверно, прошли.

Смотрим, а за деревьями, возле самой дороги, они стоят. Двое. Длинноносые, с могучим загривком...

Вроде б никаких рогов у них не было. Лбы только большие... Задумчивые такие! Спокойно так стоят. Смирно... И не подумали даже уходить, когда мы к ним приблизились. В нашу сторону смотрят.

Мы уж совсем рядом, только канава нас разделяет. А они не уходят, глядят на нас.

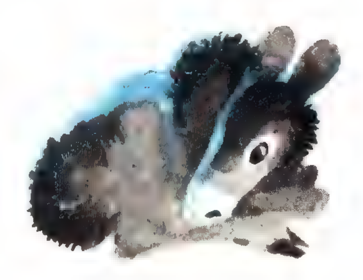
Очень меня это удивило.

Я думал обойти канаву, но вода всюду так разлилась, и близко обхода нигде не было...

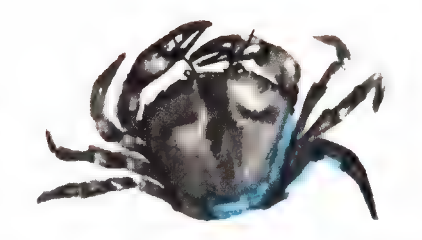
Я снял шляпу — очень хотелось их как-нибудь подмануть — и протянул шляпу к ним... Но они недовольно так на меня поглядели и ушли в частый ельник. Внимательно так на меня поглядели. Увидели, что человек как-то странно себя ведёт, и на всякий случай ушли.

Ох и ругал же я себя!

Мне говорили, что там заповедник и их там каждый день видеть можно. Но сколько я ни ходил, больше я их так и не увидел.



КРАБЫ



Ах эти мальчишки, живущие у моря! И те, что ловят бычков в Стрелецкой бухте, и те, что облепили отдалённые и ближние прибрежные камни...

Мальчишки Севастополя, Сухуми, Неаполя. Всё равно какие. Они везде одинаковы...

Намотав леску на палец, сидят они где-нибудь в Гагре на скале. Надо любить море так, как любят они, чтобы целыми днями простаивать с удочкой у пирса, чутко прислушиваться к её неверному дрожанию и возвращаться домой с двумя бычками на шнурке.

...Я лез вверх по откосу. Было душно, жгло и слепило солнце, и хотя я только что выкупался, подниматься по жаре, по солнцепёку этому, было тяжело — каждый шаг давался мне с трудом.

Наконец я добрался до грани: обрыв кончился. Пахла нагретая хвоя, звенела трава, в окружении зелени невдалеке белели домики, начинался пригород.

Здесь, на самом гребне горы, у обрыва, росла сосна, раскидистая, кривая.

В её тени, под пригнувшейся веткой, стоял с поднятой вверх головой парнишка.

Я не успел стереть пот со лба, как передо мной, вместо одного, их оказалось двое. Второй, спустившийся как раз в эту минуту с дерева, был в незастёгнутой отцовской робе и своих коротких, вымазанных смолой штанах.

Весь — как воронье яичко. Я думал сначала, что это он от веснушек такой. Но потом увидел, что веснушек на его носу было не больше, чем полагается. Так что дело тут не столько было в веснушках, сколько в смоле... Его товарищ был маленький, с заботливой белой чёлочкой, а он — босоногий, крепкий. С чёрной головой, со сросшимися бровями.

В руках парня, свалившегося с дерева, был краб, необыкновенный краб. Краб был багровый. Краб был красный,

розовый. Очень красивый краб. Я до того только один раз видел такого краба.

Хотя помню, как я сам тоже пытался ловить крабов.

Стянув с себя брюки и укрыв свои пожитки на берегу, сидел и разбирал омываемые прибоем камни. Иной раз мне везло. Только отворачивал от скалы скользкую глыбу, как из-под неё выскакивал краб. Он отплывал, боком, боком, гребя клешнёй в сторону. Я хватал его рукой. Но вода моря так обманчива, мои движения оказывались неверными.

Двух я всё же поймал. Посадил их в стеклянную баночку с водой, а потом ходил, всем показывал. Правда, эти крабы не были столь большими. Это были мелкие крабы, они были довольно невзрачные: серые, под цвет камня, маленькие. Но всё равно я их ловил и боялся. Ведь и такой маленький крабик давит ох как крепко.

Краб, которого держал парнишка, был большой, крупный. И был он красный-красный. Пунцовый краб.

Я попросил уступить его мне.

Дружки переглянулись. Конопатый, с лицом в тёмных пятнах смолы, тот, который лазил на сосну, поглядел на своего товарища. Он ему что-то сказал, и они мне отказали... Затем они ещё раз между собой посовещались, сказали, что дадут мне другого краба.

— Где же вы возьмёте? — с недоверием спросил я.

— А у нас ещё есть,— ответил веснушчатый.

Его добрый белый брат, тот, что сам на дерево не лазил, с усмешечкой поглядел на меня и пальцем указал вверх на сосну:

— Там... Поглядите вот.

Крабы на сосне? Этого ещё не хватало! Я ничего не понимал. Хотя уже видел, что там пристроена какая-то дощечка.

Но паренёк, вместо ответа, дал мне подержать краба.

Я взял краба. Он — пел!

Удивлённо, с опаской, я взглянул на руки свои. В моих руках была чудесная тонкая вещь, живая музыкальная коробочка.

Краб был полый, поэтому он весь звенел... Он не шелестел даже. Нет, именно пел. Видимо, в него сочился воздух, от этого и был он такой звучный. Гудящий краб.

Как же так это сделано?

Я вертел в руках волшебную маленькую игрушку и с недоумением оглядывал ребят. Почему же он пустой? Ведь крабы, которых я ловил сам, сгнивали на другой день. Портились. А этот целый был... Впрочем, я однажды видел уже на рынке такого же пустого, позванивающего краба... Но за него просили много денег.

Ребятишки только ухмылялись.

И всё же, под большим секретом, я всё узнал...

Ну конечно, всё дело в доске! Я сразу должен был догадаться.

Они их, этих крабов, ловят и с доской с этой лезут на сосну... (Предварительно их варят: краб краснеет, когда его кладут в кипяток.) Сначала варят, потом кладут на доску. Потом — лезут на сосну.

Очень скоро про эту дощечку узнают муравьи. Муравьи ведь живут не так, чтобы каждый муравей сам по себе.

Если один муравей узнал, то и все узнают.

И уже ползут один за другим муравьи. Ползут по одному и тому же месту. Дорога целая прокладывается...

Скоро от краба остаётся один остов.

Получаются такие вот пустые крабовые коробки. Прекрасная память о лете, о побережье... Память о Кавказе или Крыме, об этой жёсткой, об этой сухой земле...

Не много нужно дней, чтобы от вашего краба остался один только костяк.

Хитроумные эти ребята, мои новые знакомцы, когда мне нужно было уже уезжать, принесли мне в последний день одного такого краба. Я его увёз.

Они сказали мне, что муравьи выедают только больших, или каменных, крабов. Маленьких же они съедают вместе с панцирем. Так что от краба остаются одни дырочки.



МАЛЬЧИК НА ДЕЛЬФИНЕ

На чём можно проехать? На подножке трамвая. На задке грузовика... На загривке у лошади.

Когда я был маленький, я ездил на козле.

А был один мальчик: он катался на дельфине верхом.

Я знал этого мальчика. Когда появлялся он на набережной, за ним толпа, как за Гагариным, шла...

Мальчик? На дельфине? Как же это может быть?

Да я думаю, что не он один и не он первый... Дельфины издавна дружат с человеком. Иначе бы откуда этот миф о поэте, который так вот с моря приплыл однажды к людям на дельфине.

Я даже слышал, как в каком-то море, когда тонул корабль, дельфин спас ребёнка. Если верить многим и многим рассказам, дельфины спасали людей, терпевших кораблекрушение.

Правда, это было в те времена, когда человек и дельфин жили в дружбе, когда человек ещё не убивал дельфина... Но дельфин по сей день, как видно, помнит о своей дружбе с человеком и верен ей.

Сколько раз было: купаешься в море, заплывёшь подальше, и дельфин уже рядом — боится за тебя, как бы ты не утонул.

Дельфины — очень заботливы. И не надо думать, что подобные этим случаи спасения могли происходить, когда по морям ходили парусники и когда, отправляясь в плавание, люди не брали спасательных кругов... Ещё недавно большой дельфин-афалина в течение тридцати лет сопровождал суда, направлявшиеся в Новую Зеландию.

Мне на всю жизнь запомнился слышанный мною в детстве рассказ про одного дельфина и одного мальчика — про мальчика и дельфина, любивших друг друга...

Однажды, когда этот мальчик и дельфин купались и

играли друг с другом, дельфин по неосторожности ранил мальчика. Задел его плавником.

Я даже, позднее, в Ленинграде, видел такую скульптуру. Испуганный дельфин со смертельно раненным мальчиком плывёт к берегу. Мальчик лежит у дельфина на спине, чёлка мальчика в зубах дельфина... Меня поразил тоскующий глаз дельфина.

Возможно, это всё легенды. Одно ясно — дельфины смышлёные и необыкновенно добрые существа. Даже когда дельфинов убивают — дельфин в это не верит, он внимательно смотрит на то, что делает человек.

Я не говорю уж об их удивительных странностях и, я даже сказал бы, склонностях.

Однажды, лет десять назад, довелось мне переплывать Керченский пролив. И вот когда на мачте вдруг взвыл репродуктор, из-под кормы тотчас же стали высовываться дельфины.

Слух у них очень хороший.

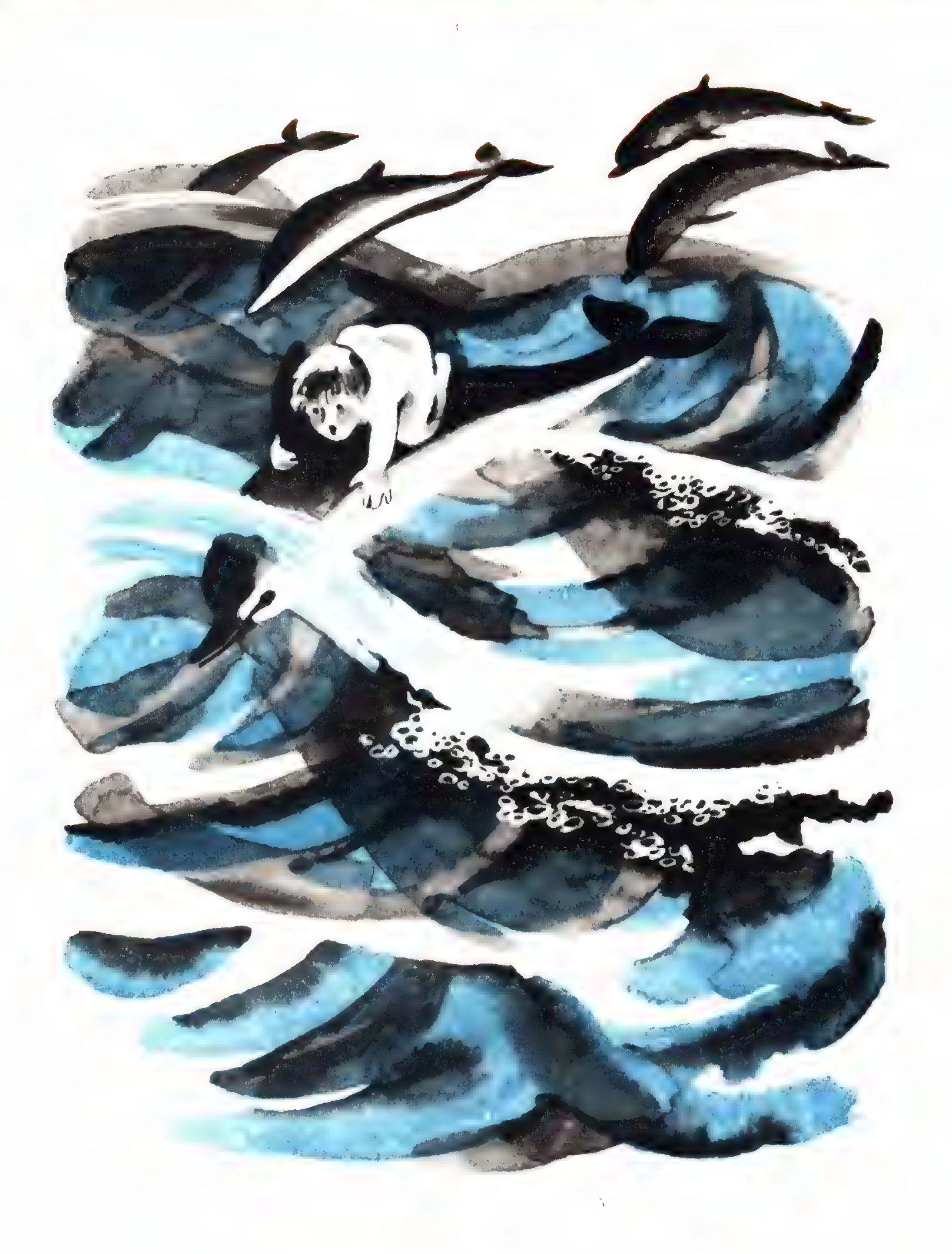
Я их впервые тогда увидел. Появлявшиеся над водой их фантастические зыбкие спины. Крутые колёса! Чёрные. Будто лакированные... Я стоял на палубе, следил за расколыхавшимися волнами. Неожиданно над головой у меня из подвешенного к рубке репродуктора раздалась музыка. И тут же, сразу, из-под катера, отфыркиваясь, стали выскакивать дельфины. Круглые и ловкие животные... Стадо голов на пятьдесят было. Чуть корабль не потопили.

Музыку пришлось выключить.

Считается, что дельфины способны воспринимать человеческую речь. Тут бы многое можно было рассказать... Иногда они даже наши слова повторяют. Я вот читал недавно, сейчас дельфинами учёные специально заниматься стали... Записывают под водой их разговоры.

Но обо всём этом можно было бы не говорить, если бы не этот случай, если бы не этот купавшийся в бухте в южном море голенький мальчишка.

Не все, может, поняли, что произошло... Он и сам, наверно, одуматься не успел, как очутился верхом на дельфине, и тот несёт уже его в море.



Вот что произошло...

Мальчик этот вместе со своими дружками бултыхался в море, у берега. На минуту он почувствовал под собою ускользавшее тело чёрного дельфина. Смотрят все кругом и не понимают, что же такое там... Как глиссер... Вместо того чтоб ему поглубже нырнуть и тем отделаться от непрошено вцепившегося в него седока, дельфин взял направление прямо в море.

Быть может, смышлёный и добрый дельфин и сам испугался, а может, он и увезти хотел... Ведь бывали же и в прежние времена случаи, когда детей, которых они так любят, дельфины увозили в море. Ребёнок ведь не понимает, а он его увозит.

Правда, и дельфин, может быть, сам тоже того не понимает...

Дельфин на всю жизнь остаётся ребёнком...

Когда мальчик увидел, что дельфин уносит его в открытое море, он отцепился.

Говорят, удалось заснять его, дурного этого дельфина, с мальчиком на спине...

Это дело нешуточное, промчаться верхом на дельфине. Дельфин может быть и добрым и ласковым, но это животное бешеной силы. Попробуй-ка вскочить на него! Он так тебя понесёт! Это тебе не на козле! На козле и то страшно.

Когда дельфин как сумасшедший принимается кружиться вокруг лодки, и то становится не по себе...

Чем мне так дорог этот рассказ?

Там, у себя в лесу, в деревне, я на дельфине не катался. Я даже толком не знал, какие они, дельфины. Но, право же, этот пролетающий на дельфине с поднятой головой мальчик — такой прямой пример удальства... Как на космическом корабле летел!

Для меня это как детская мечта. Как само моё детство.

Потому что, хотя я на дельфине и не катался, но и я всегда хотел быть таким. Лететь навстречу опасности... Как этот мальчик, который не испугался. Мальчик на дельфине.



ГОЛУБОЙ РЕЛИКТ

К нам, в Крым, издалека, из Сибири, приехала девочка-гостья. Всегда, когда кто-нибудь приезжает, мы стремимся показать всё, что можно. Так и на этот раз: на другой же день отправились мы с ней на Южный берег.

Я сам решил ехать: известно, что нет большего удовольствия, как показывать знакомые и любимые места...

Вот и мы поехали. И до перевала ещё не добрались, как я уже вошёл в роль экскурсовода, показывал и на то и на это. И всё это так, с таким гордым видом, будто всё это я сам по меньшей мере создал. И эти горы, и деревья, и скалы. И хоть тыщу раз, может, всё это видел, но уже и сам жадно глядел на знакомую дорогу.

И только мы сошли с автобуса и очутились на берегу

моря, гостья моя — ей лет десять было — подняла голову и куда-то пальцем вверх показала:

— Что это?

Показывает она на невысокое крепкое дерево, с круглой, почти шаровидной кроной. Листья очень большие. Верней, это и не листья даже, а огромные зелёные лопухи. А всего удивительнее плод — белые сверкающие стаканчики; маленькая такая пенящаяся чашечка в зелени лопухов.

— Это,— отвечаю я ей,— сливочное мороженое.

Она так удивилась, взглянула, не зная, как понимать то, что я ей говорю. «Разве может быть?»

Я говорю тогда: это самое лучшее сливочное мороженое, какое может быть. Всегда растёт так. Если его сейчас сорвать, оно холодное-холодное. Какая бы жара ни была, оно всегда холодное...

— А достать нельзя? — она спрашивает.

— Нет, достать нельзя,— говорю.— Ругать будут.

Мы так прошли ещё немного.

— А это,— показываю на куст с маленькими чёрными и синими ягодами,— это чернильная ягода. Из которой чернила делают...

Она опять смущённо на меня посмотрела, опять не зная, как верить мне.

— Да, да,— говорю я,— это из неё как раз, из этого дерева, чернила делаются, которыми вы пишете...

Кивнула головой. Потрогала одну ягоду. И правда, чернильные, пальчик весь запачкала.

Возил я её, возил. Всё ей было интересно...

— Где я — в Ялте или Алупке? — спрашивала она иногда меня.

Наконец мы пришли в Воронцовский парк. Парк, как известно, огромный, старинный. Очень тенистый. Сквозь него даже крымское солнце не проникает. Всегда в нём держится на земле тень под деревьями.

Опять спрашивает моя девочка:

— Что за дерево такое?

И показывает на дерево, неровное, с коричневой потрескавшейся корой.

А дерево и впрямь любопытное. Оно такое как стрела. Внизу оно толстое, массивное, а вверх идёт клином...

— Это, — говорю, — мамонтово дерево. Разве ты никогда не слышала?

Она опять удивилась: «Как так?» Ни капельки мне не верит.

А это такая ель... И похожа на ель, только громадная. Во много раз больше. Дерево как дерево, да не совсем обыкновенное. Непонятное в нём есть что-то: оно и хвойное и лиственное. И не то и не другое. Какие-то зубчики, голубоватые и странные. Как у какой-нибудь древней рыбы.

— Эти деревья, — говорю я самоуверенно, — жили ещё тогда, когда человека на земле не было, а бродили динозавры и бронтозавры, ящеры всякие... И росли такие вот деревья. Триста метров высоты... Те животные давно уже вымерли, а деревья остались. Одно только это дерево осталось. Реликт называется...

Долго я ещё ей так сочинял...

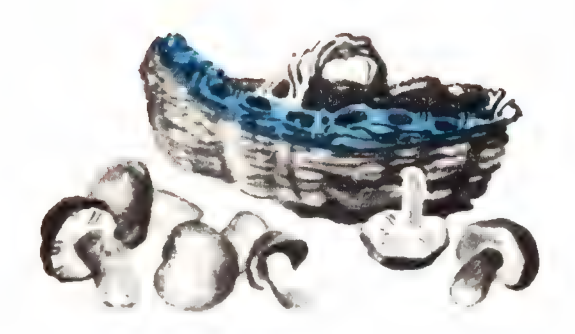
У него, говорю, и хвоя не такая, как у всех. Это на вид только как будто хвоя, а в действительности это чешуйки такие...

Много мы в тот день ездили и много интересного видели.

Конечно, что касается сливочного мороженого и этих кустиков, из которых чернила делают, я это придумал. А всё, что про голубой реликт, всё правда.

Мы привезли домой шишку этой необыкновенной ели.





ГРИБЫ-ЯГОДЫ

После обеда отправились мы с девочкой нашей, с Валенькой, в лес. Идёт моя Валенька и в руках корзину несёт, обеими руками её держит.

Пахнет лесом, летом. У дороги брусники гладкие листки. Цветы. Солнце.

А в лес вошли — сосной и земляникой пахнет, смолой разогретой. Чайным листом...

Одуряющие запахи!

Лиловая морошка зреет, и белки по соснам прыгают.

Скоро нам и грибы стали встречаться. Сначала подорожник попался, твёрдый такой, что ногой нельзя раздавить. Потом — бычок и несколько синявок. А Валенька идёт озабоченная. Ей ничего не попадает. Тащит она свою корзину, а корзина больше Валеньки.

Идёт-идёт и назад оглянется. Тащит она свою громоздкую корзину и ягодки собирает. А ягодки в это время известно какие — земляника. И опять, смотрю, нет-нет да и оглянется назад. Сорвёт земляничинку и оглянется.

— Что ты? — спрашиваю.

— Медведя боюсь...

— Здесь медведей нет,— говорю.

Не верит.

Стал я говорить, как это глупо — медведей бояться. Ну что он, медведь, может сделать! Медведей в этих местах давно и нет. Если бы даже медведь нас увидел, он бы первый от нас убежал. Зачем ему Валенька? Он малиной питается. И очень любит муравьёв. Сунет лапу в муравьиную кучу и облизывает.

Конечно, в прежние времена и медведей было больше. И лесу. Когда жив был мой дед и сам я ещё без штанов бегал, этот самый лес прямо к дому подступал. Боялись далеко отходить от избы. Тут липняк был густой. Сколько раз было — отойдёт человек на несколько шагов от дома своего, а обратно дорогу отыскать не может.

Девочка однажды одна потерялась. Выйти не могла. Заигралась она, мы вокруг избы в прятки играли. Отбежала и не вернулась. На другой год уж нашли. Под хворостом...

Топтыгин всегда так делает. Хворостом завалит тебя и уйдёт.

Мне так всегда говорили: «Смотри, медведь задерёт...»

Но я этого ничего Валеньке не рассказываю. А то домой запросится.

Грибов, как нарочно, всё больше попадаться стало. У меня уже корзина полная — красный подосиновик, несколько маслят, рыжики, валуи. Потом и белый пошёл. Только Валя моя никак ничего найти не может. Она всё больше корзину таскала. Её увлекла земляника.

Гриб ведь надо искать. Грибы — прячутся. Гриб, моя милая, это не ягоды. Гриб — всегда находка. Найти гриб — всегда событие... Гриб надо высмотреть. В самом деле: идёшь, идёшь, и вдруг — белый гриб! На поляне, на виду... Он всегда на виду, когда его найдёшь. А вроде бы ты только прошёл. И ничего не было.

Всегда это так неожиданно, врасплох.

Это как игра какая. Прошёл — его не было, а вернулся — он появился.

Поляна за поляной, каждое дерево обходишь. Ничего. И вдруг — ещё одно дерево обошёл, а они тут и есть. Прямо перед тобой.

Гриб, говорят, будто бы за семь минут вырастает. Надувается, надувается, и раз — вырос.

Будто вспыхивает...

Валя уставать уже начала. Идёт, нога за ногу заплетает, за пенёчки запинается. Да и солнце припекает.

А тут как раз место чистое, выкошенная полянка попалась. И Валя что-то мне из-за берёзки кричит, голос подаёт. Гриб, оказывается, нашла. «Что такое я нашла?»

А это обабок у неё в руке. Так подберёзовики у нас называют. Грибок мягкий, на высокой длинной ножке. Стоит, шляпчонку надвинув.

— Хороший? — спрашивает девочка.

— Хороший,— говорю.— Клади в корзину.

Очень она обрадовалась. Ещё бы — сама гриб нашла. Слышу, уже даже поёт за берёзами. Идёт и весело приговаривает:

Гриб обабок — корень набок!

Скачет она на одной ножке, рада, что сочинила.

После этого у неё и пошло. Раньше ничего не видела, а тут открылось ей, стала находить один гриб за другим...

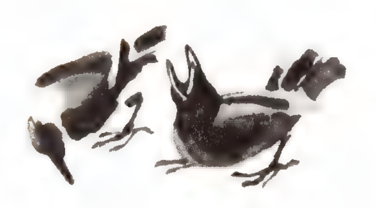
С грибами всегда так: ходишь, ходишь — ничего не находишь. А только один гриб нашёл — тут тебе они и начнут попадаться.

Приободрилась Валенька. Про ягоду забыла. Ходит и в корзину мою заглядывает, смотрит, сколько грибов там — хочется ей меня обогнать. И домой не просится, и комары её не кусают. Тишина такая кругом. Солнышко.

Совсем, гляжу, осмелела. Наклоняется за земляничинкой, размахивает корзинкой и задорно так с вызовом поёт:

У медведя на бору
Грибы-ягоды беру...

Поёт-поёт, а оглядывается. Ведь медведи и вправду людей задирают.



ВЫМОРОЗОК

Всю зиму он так по этой тропе и ходил, от дому до кирпичных красных ворот. Точнее было бы сказать, что его водили, потому что сзади шла нянька.

Я уж думал, что это его наказывают...

Помню, как я удивился, в самый первый раз встретив его на улице,— зима в тот год была довольно суровой. Я едва успел сойти с поезда, только-только приехал. Я уже не шёл, а бежал, спрятав нос в воротник старой собачьей дохи. От холода у меня даже коленки сводило. Тут-то я и заметил его у себя на тропе, под ногами. И тотчас уступил ему дорогу.

Маленький, краснолицый, похожий на бодливого бычка, он сердито прошёл мимо меня. Прошёл так, что даже брови сдвинул.

Нос у него был пуговкой.

На другой же день я спросил у няньки — она стояла на крыльце и, как видно, очень мёрзла,— спросил, что происходит: за что его держат на улице? Оказывается, так и надо, нужно, чтобы он так вот



ходил... Дома он часто болеет. И вот его отправили из Москвы сюда, в эту деревню.

Каждый день я теперь сталкивался с ним на нашей тропе.

В самую лютую стужу, когда мы сидели по домам, не смея даже высунуться за дверь, он по протоптанной, узкой, утонувшей в снегу тропинке, большелобый, толстенький, подвязанный красным кушачком, закутанный в стёганую поддёвку, расхаживал преспокойно со своей лопаточкой.

Кажется, на морозе положено было его держать часов десять.

Он так привык быть на холоде, что дома, в комнате, он жить уже не мог. Как только с ним приходили в дом и он оказывался в тепле — он начинал плакать. Оттаивал и начинал плакать.

Так что на морозе надо было держать его круглые сутки.

Один раз я выезжал в Москву рано и встал ещё до света — и думал, что его ещё нет, но, когда я вышел на крыльцо, его уже выводили.

Так он всю зиму и прожил на улице... Забрать домой его было почти невозможно.

Он уже красный был весь. Весь, как стручок перца, красный...

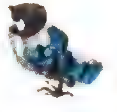
Всегда ходил по одной и той же тропинке и всегда держал в руках эту свою лопаточку. Обморозившаяся нянька всё чаще убегала греться.

Посмеиваясь, мы говорили, что по утрам, когда встаёт, ещё, чего доброго, его усаживают в ведро со льдом.

Пришла весна, и нашего парня от нас увезли, и скоро мы даже забыли о нём. Но как же мы были удивлены, когда на другой год вместо этого толстощёкого здоровяка привезли другого ребёнка — бледную, хилую девочку.



Она шла по той же тропинке в сопровождении той же няни.





СМЕШНАЯ БЕЛКА

Всё вокруг завалил снег. И на деревьях, и на крышах — всюду его было много, всюду было бело... А тут ещё ночью свежего подсыпало.

Я возвращался из Москвы. Мы шли вдвоём, заново проминая тропинку. День был свежий, тихий, морозный. Солнышко хоть и светило, но было слабое и тусклое. Всегда в эти минуты не знаешь, то ли оно есть, то ли его нет. И тишина была неслыханной, огромной, какой она вот единственно в такой мороз и бывает.

Мне показалось, что с одной сосны вроде бы сыплется... Что там ни говори, но странно при такой тишине... Двести сосен вокруг, и нигде ничего не сыплется, а с этой вдруг сыплется. Мы поглядели, поглядели, но так ничего и не увидели.

Немного прошли ещё и свернули к дому. Спутник мой, смотрю,— он шёл впереди — что-то мне показывает... У калитки, сразу за воротами, прямо в снегу, белка красная. Хвост чёрный, а сама рыжая, маленькая...

В ту же секунду она, как только увидела, что мы на неё смотрим, на дереве оказалась. Подскочила... Но не высоко так. Цепляется за кору коготками и оглядывается на нас.



Мы подбежали к ней, проваливаясь в снег, в канаву. Она ещё повыше поднялась. Ненамного. Непуганые белки!.. Охватила сосну лапками и висит. Вниз на нас смотрит. Потом уж, когда палкой стучать стали, она взлетела вверх.

Мы её начали гонять, а она знай прыгает по соснам, с одной ветки на другую... Тишина вокруг, безмолвие, ни один сучок не шевельнётся, и одна только эта, среди белого снега и зелёного леса, кувыркающаяся в засыпанных снегом ветвях белка... И что странно — всё вблизи двора держится... Кружит... Дошла до угла забора и обратно во двор.

Тут мальчишки как раз шли по дороге, из школы возвращались. Мы их позвали.

— Ребята, хотите белку поглядеть?..

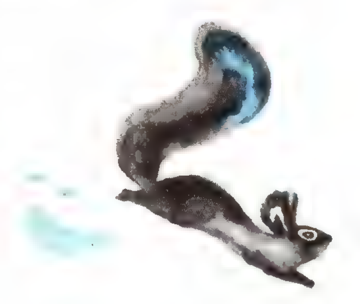
Им, конечно, интересно! А они — отмахнулись: подумаешь, мол, что мы не видели... Она тут живёт, на башне... Их там много.

Да, во дворе у нас водонапорная башня, кирпичная. Прямо в соснах, в самой густоте, в зелени краснеет; даже чуть выше этих сосен. Мы когда подошли ближе и взглянули вверх — там, на стене башни, под крышей, под карнизом, этих рыжих белок как муравьёв...

Мы вернулись на тропу, те равнодушные мальчишки ушли, и белки нашей тоже не было... Она, видно, скрыто добралась до своего гнезда, под крышу башни.

И тут только мы вспомнили и удивились, что белка такая неправильная. Красная. Теперь мы даже удивились тому, что мы не сразу обратили внимание на это.

В самом деле, почему же не серебристая, не серенькая, почему она не вылиняла?.. Ведь пора бы! Давно уже середина зимы. Выходит, что даже на зиму белки, живущие в этой кирпичной красной башне,— в отличие от тех, что живут в лесах,— остаются красными...





ПРО КЛЕСТА

Зима выдалась холодная, а два или три дня даже держался большой мороз. Но и в такие дни я ходил на лыжах. Я даже зашёл дальше, чем всегда, и, возвращаясь, к тому же заблудился. Попал в самую глушь леса.

А мороз и вправду был сильный. Рот пришлось зажимать рукавицей. Хорошо ещё, что колея была старая, натоптанная... Через недолгое время я выбрался на прежнюю дорогу, на свою прежнюю, знакомую колею. Снег скрипел, лыжи хорошо скользили. Я шёл и шёл под навесом длинных низких веток. И вдруг я увидел, как впереди что-то тихо перелетело с одной ели на другую. Я тотчас придержал лыжи и вгляделся: внизу, на тёмной коре, у самого комля, сидела какая-то серая птица. Как дятел, держалась за дерево. Стоймя.

Я взмахнул лыжной палкой, чтобы её спугнуть, но она не улетела. Я подумал: «Замерзает она, что ли?» И, перекинувшись с лыжами ближе к дереву, как можно осторожнее сгрёб птичку. Захватил её на стволе.

Она и не пыталась улететь, как видно, совсем замёрзла.

Я сначала её держал в руках, палки пришлось мне взять под мышку. Но идти долго так я не мог, руки у меня мёрзли. Я посадил было птицу за пазуху, но едва только

я пошёл вперёд, как испугался и остановился, боялся, что задушу.

Тогда, сняв с себя шарф, я закутал её. Но и так идти было неудобно; и тогда по-другому сделал. Снял с головы шапку, шарф надел на голову, а птичку посадил в шапку.

Шапку привязал тесёмками за пуговицы, сунул руки в карманы и так пришёл домой.

Шёл и всё думал: что́ за птицу я такую везу? Почему она не летает?

Хотя птичка была довольно большой, мне показалось, что это птенец... Ножки — тоненькие-тоненькие. И жёлтые. И коготки узкие, длинные... Но откуда же зимой-то ему взяться! Зима — и птенец. Зимой вроде бы птенцов не бывает. И решил, что во всём этом надо разобраться...

Пришёл я домой. Шапку с птицей положил на кровать, сам стал раздеваться.

Но едва положил на кровать шапку, как птица оказалась на стене. Странная какая птица! В тот же миг перескочила на ковёр. Над кроватью.

И сразу забарабанила, сразу стала долбить стену. Довольно сильно застучала.

Клюв у неё был тонкий, кривой. Белое такое шильце.

Вот же голова! Живу рядом с лесом, а ничего не знаю.

Что такое я притащил? Смешное что-то... Должно быть, недавно родившееся. Похоже всё-таки, что птенец. Но откуда же зимой, в конце февраля?

Из гнезда, что ли, он вывалился?

Совсем беспомощный. Взрослый и не замёрз бы! Конечно же, это птенец, растрёпанный, пухлый, но почему же зимой? Так я сидел и рассуждал. Какой же детёныш зимой...

Я попробовал было дать ему простокваши, но он ничего не ел.

Это лишний раз только убедило меня в том, насколько он мал и беспомощен...

Я уже себя ругал, что унёс его от гнезда.

Заранее принялся создавать ему обстановку, сунул еловую веточку за ковёр, чтобы ему было за что держаться, легче сидеть. И чтоб было как в лесу!

Но птенец мой ничего не ел, на ветке сидеть не стал, да и за ковёр держался слабо.

Я уж хотел было тащить его обратно. Надо же было сделать так неосмотрительно: взялся спасать птицу, не зная о ней решительно ничего, и унёс её от матери.

Я бы, наверно, так и поступил, но довольно быстро, через час после того, как я его принёс, он вовсе отцепился от ковра... Он ещё был жив и сидел на кровати, но через час я уже вынес его и положил в коробке под ёлку в снег. Он умер.

Я хотел ведь сделать как лучше, хотел помочь ему... И вот как неладно получилось...

А это клёст был! Я всё узнал позднее, в книжке, в календаре прочёл, и сразу понял, что это клёст был. «Клесты-еловики — «беличья птица» — помогают белке добывать корм. Они сбрасывают шишки... Если зимой клесты поют и весело дерутся на вершинах елей, к осени надо ждать урожая белки». Клесты, оказывается, и вправду выводятся в феврале, в самый лютый мороз. Вот что сказано в том же календаре: «Февраль. У клестов в это суровое время выводятся птенцы». Так что это птенец был и самый настоящий клёст! Вот так.

И мороз никакой ему не страшен.

А я-то с улицы нёс его в тепло.

А ведь слышал когда-то, слышал, что клёст и белка содружествуют. Клёст среди зимы набивает белке шишки, а белка тащит в дупло зёрна...

Не надо мне было его спасать.





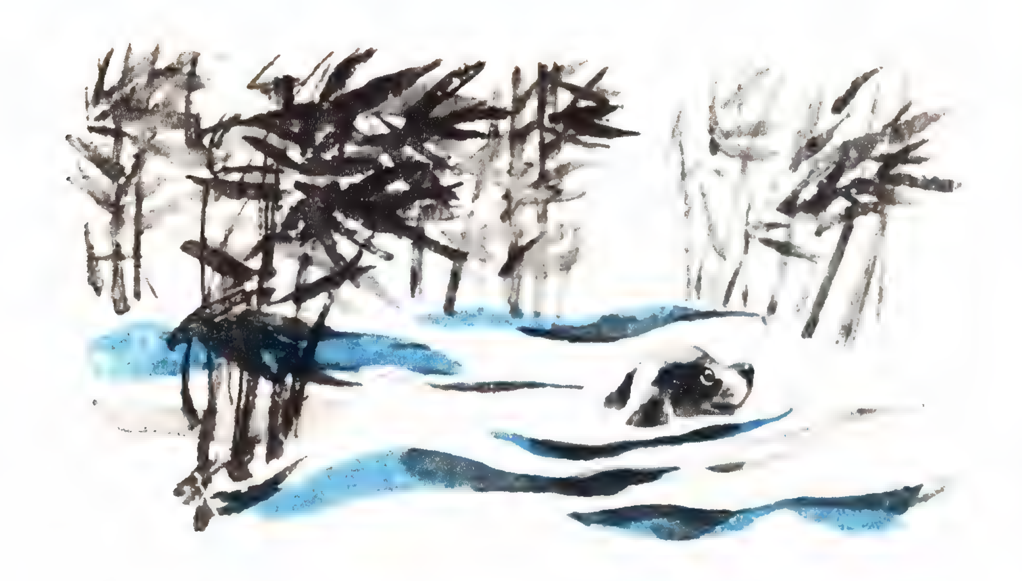
СОБАКА

Рыжик был неуклюжий, смешной щенок.

Однажды, когда мы собрались в лес, он каким-то образом разведал об этом и поднял такой крик, что мы не знали, что делать. Ни за что не хотел оставаться один. Добрая наша тётя Матрёна сначала его удерживала, не отпускала, а потом сама стала просить, чтобы мы его взяли с собой. Он сразу сообразил, что его берут, завилял хвостиком и ринулся вниз, под гору. Дорога до речки была ему знакома. Но как он, бедненький, боялся перебираться через плотину, где низом, под мостиком, клокотала и пенилась вода. Как медленно, поскуливая и повизгивая от страха, полз он на брюхе по двум неровно положенным брёвнам. Плакал, а полз! Вода гудела, а он, прижимаясь, всё-таки лез вперёд по этим дрожащим, ходящим ходуном брёвнам.

Когда мы все трое очутились на другом берегу, он так обрадовался! Заглядывал нам в глаза и вертел хвостом. Наверно, ему хотелось поскорее забыть об этой страшной, оставшейся позади плотине, словно ему не предстояло по ней возвращаться назад. Обгоняя нас, по-заячьи смешно вскидывая задом, он бросился наверх, по песчаной петляющей тропе.

Мы пришли в лес, и он не знал, что он должен делать



здесь. Не понимал, куда он попал и зачем мы сюда пришли. Сразу присмирел, притих, настолько лес в первую минуту на него подействовал угнетающе. Растерянно поглядывал на нас и на высокие вершины сосен.

Но скоро он всё понял и стал облаивать грибы, которые мы собирали. Сообразил, что к чему, и скоро стал находить рыжики. Найдёт рыжик и стоит над ним.

Моя спутница, маленькая Валенька, тоже, как Рыжик, первый раз была в лесу. Она в первый раз приехала в Сибирь, в места моего детства, всё её удивляло, всё ей казалось необыкновенным, сказочным: и сизые, поднимающиеся по вечерам над нашими болотцами туманы, и большие чёрные щуки, которых стреляли из старых дробовиков, когда по утрам они ещё спали у берега.

Валенька, как и Рыжик, в первое время не умела собирать грибы. Моя корзинка была почти уже полной, а она пока ещё ничего не нашла. То и дело подавала мне разные поганки и спрашивала, можно ли это брать. Хорошие грибы прятались от неё.

А Рыжик тем временем вовсю рыскал по сторонам. Мы услышали за ёлками его слабое, хорошо знакомое нам по-

визгивание. Мы подошли к нему и увидели, что Рыжик сидит возле гриба. Рыжик нашёл. Мы от души похвалили нашего Рыжика и скоро были не рады, что сделали это. До обидного легко он отыскивал грибы. То и дело за кустами слышалось его радостное, призывное повизгивание. Мы уже не могли искать сами, бегали к нему смотреть, что он там такое нашёл. Он ведь не успокаивался, пока мы не посмотрим.

Так мы и собирали. Он лаял, а мы должны были бежать к нему.

Мы возвращались домой после обеда, когда солнце было высоко ещё. По пути нам попались две девочки-школьницы. Прямо на дорогу, в колею, заросшую травой, просыпали они свои ягоды и теперь стояли плакали, не зная, как им возвращаться домой. Мы помогли им собрать ягоды и опять пошли вперёд. Кузовки наши были полны маслят, свежих молодых подберёзовиков, а сверху лежали Рыжиковы рыжики. Сам Рыжик бежал рядом с корзиной, довольный, что он так хорошо потрудился.

Он был ещё маленький, а дорога была длинная. Охотясь за грибами, мы незаметно для себя сделали большой круг, и теперь нам было далеко возвращаться. Мы заговорились, а Рыжик, который всё время бежал впереди, глядим, где-то отстал от нас, далеко отстал он. Я вернулся, подхожу к нему. Смотрю, он лежит на спине и лапы вверх поднял: больше, мол, не могу. Одурел, должно быть, от запахов леса, от жары, был измучен комарами, но бежал сколько мог, бежал изо всех силёнок. А теперь вот свалился и лёг! У него даже ноги дрожали. Бедный, он думал небось, что тут его и оставят. Когда я взял его на руки, он даже заплакал. Жаловаться принялся мне; устал он за этот день сильно...

С того самого дня мы и решили называть нашего Рыжика — Рыжиком. А до этого он ещё некрещёный был. Мы долго не могли придумать ему имя и называли его временно то чижиком, то барбосом, а то и просто щенком. Он и в самом деле рыжий был.

Валеньку мою он очень любил и первой стал отличать

её от других. Её платье привлекало его. Он повсюду за ней бегал и больше всего рад был, если она брала его на руки...

Мы поссорились с нею. Теперь уж не вспомню, из-за чего вышло. Никто не заметил этого, а Рыжик заметил. Он вилял хвостом, подбегал то к одному, то к другому. Бедный, ему было хуже всего. Он видел уже, что ничего нельзя сделать, и всё же бегал от одного к другому. Тыкался в ноги и лез на колени. Очень чуткий был пёс!

Я хотел, чтобы он ничего не боялся, и приучал его ко всему. Один раз я, на той же речке, положил его с плотика в воду, хотел, чтобы он научился плавать. Он очень испугался и чуть не пошёл ко дну. Небось думал, что сразу утонет, и изо всех сил заработал лапами. И хотя ничуть не плыл, но на воде держался. Всё кружил на одном месте возле плота.

Купание ему не нравилось, воды он боялся.

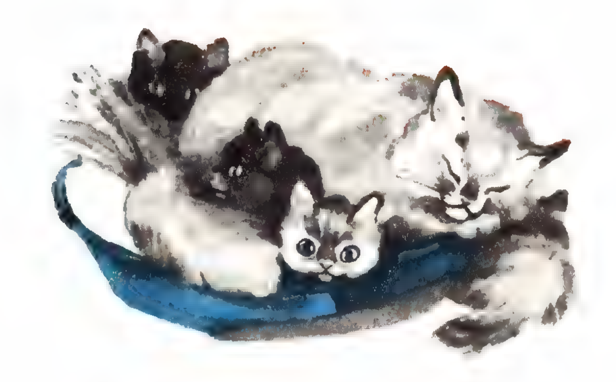
Как только он почувствовал себя на берегу, он изо всех сил понёсся домой, в гору.

Все норовили его обидеть, нашего Рыжика, гуси его долбали... Я помню ещё, как он прыгал через палочку, как я учил его этому в кустах, за домом...

Потом мы собрались уезжать и долго не знали, как нам быть с Рыжиком, куда нам его пристроить. Я не мог его взять с собой, мне и самому в то время негде было жить.

Мы уехали вскоре в Москву, а потом всё вспоминали о нашем Рыжике: как-то он там без нас, наш замечательный, чуткий пёс! Наверно, сделался заправским злым кобелём и усердно несёт свою службу при дворе.





МИШКА

Я почему-то кошек не люблю. Да и не любил их никогда. Если в чужом доме вскакивала мне на колени кошка, мне было не по себе. С детства ещё я невзлюбил их. Собак, тех ничего, а кошек терпеть не могу. Но так вышло: с год, наверно, не мог забыть одного котёнка. Ещё он и вырасти не успел...

Снимал я в то время комнату в Подмосковье. В летней даче, где и печей-то не было. Но я ждал, нам обещали, вот-вот должны были дать квартиру, и не съезжал. Керосинкой обогревался.

И вот наконец долгожданный сигнал о вселении был получен.

Мы, помню, уже тронулись, выехали за ворота, когда из дома выскочила одна старая женщина и сунула нам котёночка.

— Без котёнка — нельзя! — сказала она.

А мы и забыли об этом, забыли, что, прежде чем войти в новое жилище, надо пустить в него кошку или котёнка, что есть такая примета...

Котёночек был крохотный, я видел его и раньше, в коридоре, их было в гнезде немало, таких маленьких:

кошка родила неделю назад. Проходя мимо, всякий раз заглядывал за лестницу, и всякий раз кошка шипела и бросалась на меня...

Он ещё ничего не понимал, даже, кажется, и не видел. Я посадил его за пазуху, под пиджак, и, пока доехали до Москвы, он и через рубашку сильно поцарапал меня.

Мы назвали котёнка Мишкой, хотя даже потом, когда он подрос, он не походил на медведя. Через денёк-другой после того, как мы вселились, мы поняли, что рано взяли его от матери, что Мишка не просто мал, но и совершенно беспомощен.

Я подставлял ему молоко, а он на него даже и не глядел. Он ещё не умел лакать. Я думал, он научится, но прошло дня два, а он так и не прикоснулся к блюдечку, к молоку. Я не спал ночь, но утром я придумал: отправился в аптеку, купил обыкновенную капельницу, пипетку. Я разжимал Мишке рот и давал ему молоко. Хотя ему было трудно, он понемногу глотал.

Он долго ещё не умел питаться самостоятельно, и мне пришлось немало повозиться с ним. И надо сказать, что Мишка потом за всё отплатил мне самой нежной привязанностью...

Прошло ещё несколько дней, и оказалось, что у Мишки что-то с животом случилось. Мишка стал вялым, лежал, не бегал. Животик у него сделался толстым, твёрдым, и я боялся, что он умрёт.

Но и эту беду мы преодолели, помогли Мишке. Скоро дела у него поправились, и он воспрянул духом, забегал. Сразу стал ласковым.

Только не наладились отношения у Мишки с кошкой соседской, с той, что жила в одной квартире. У этой кошки были зеленющие злые глаза, и Мишка её сразу невзлюбил. Мы заметили это и решили, что Мишке нашему худо придётся. Но наш котёнок повёл себя так храбро, что кошка стала бояться его. Мы один раз даже видели, как позорно она убегала. Большая злая кошка от маленького Мишки...

Мы и не знали, что Мишка такой отчаянный.

После того Мишке стоило только появиться на кухне, как она мгновенно исчезала.

Он удивительно понятливый был! Скажешь ему одно ласковое слово, и он уже лезет на колени и норовит добраться до лица, до шеи. Так же понятлив был, если его в чём-нибудь упрекали. Стоило сказать: «Ай-яй-яй, как нехорошо! Нехорошо, Мишка...» — и он принимался бегать по комнате или носиться кругом по дивану, по ковру. От смущения. При этом издавал своими коготками этакие щёлкающие звуки...

Спал Мишка чаще со мной, а если засыпал отдельно, то утром он всё равно оказывался внизу, подо мною... Днём я иной раз любил прилечь, и Мишка меня охранял. Он пристраивался на затылке у меня и лежал, мурлыкал. Но если я засыпал, он лежал тихо, не шевелясь...

Ещё одна беда у нас случилась. Я заметил, что Мишка на животе своём начал выкусывать блох. Я поглядел, что у него там, и увидел, что блохи его прямо-таки заедают. Где он их столько набрал! Вроде такой маленький, чистенький! Сколько сам он ни пытался от них избавиться, ничего у него не вышло.

Тогда я решил помочь Мишке и вымыть его.

Он царапал меня, боялся, но всё-таки я намылил его и выкупал.

После этого Мишка мой захворал... Я не знал, что котят маленьких не купают, что они погибают от этого... Не выдерживают.

Мишке плохо было, он лежал в своём углу и не поднимал головы. Очень я себя ругал.

Но Мишка выкарабкался и из этой беды.

Скоро мы даже стали с ним выходить на улицу. Тепло уже было, трава вовсю зеленела. Я оставлял Мишку на газоне. Он долго бродил, пытался выбраться из высокой травы и не знал, куда идти. И таким он в эту минуту бывал беспомощным, что мне сразу становилось его жалко, и я не выдерживал, подавал голос, звал его к себе. Так он был рад, когда преодолевал эту страшную густую траву и видел меня...

Мишка подрос, но всё ещё был мал... Он серенький весь был. Только животик белый. И мордочка у него была смешная: одна сторона серая, а другая белая совсем. Сам он, конечно, не знал этого. Не знал, что он такой смешной, неодинаковый.

Вздумалось Мишке затеять нехорошую одну шутку: он взялся выбегать на лестничную клетку. Первый раз, когда он убежал, я его поймал. Ему понравилось, он воспринял это так, что с ним играют. После того началось: стоило открыть дверь, Мишка выскакивал, и приходилось за ним гоняться.

Он оглядывался, прыгал по ступенькам... Один раз я поймал его на пятом этаже.

Прошёл день, и он опять выскочил. У меня сидел гость, и я сразу за Мишкой не погнался. Решил, что придёт сам... Но на сердце было неспокойно. Когда я вышел на лестничную клетку, Мишки не было. Поднялся этажом выше, но и здесь его не нашёл. Я забеспокоился и спустился вниз, до первого этажа. Никого. Опять полез наверх, до девятого... Даже забрался на чердак, с полчаса ходил я там, в каждую щель заглядывал. Разыскивал Мишку во дворе, но нигде его не было.

Не появился Мишка и на другое утро, хотя я надеялся, что он придёт.

Снова я отправился на поиски, исходил весь наш район, заглядывал под брёвна, под доски. Повсюду вокруг домов ещё был сложен строительный материал... Я заглядывал под штабеля досок и видел: там горели десятки зеленоватых голодных глаз...

Те самые кошки, те самые котята, которых брали для новоселья и которые теперь стали бездомными. Ведь одновременно заселялось много новых домов. Весь район был новый.

Было их жаль.

Вечером, пересекая газон, где траву успели скосить, я спугнул котёнка. И хотя темно было, мне показалось, что это Мишка. Но котёнок так был напуган улицей, что не подпустил и близко. Даже не разобрав, кто его зовёт, он

метнулся в сторону. Когда же я побежал за ним, он пересек трамвайную линию и затерялся на другой стороне улицы...

Я ещё дня два искал...

Мишка исчез.

Долго ещё раздавались у нас в передней звонки, и дети нам показывали разных котят и спрашивали, не наш ли это. Одного и того же котёнка они приносили по нескольку раз. Но даже отдалённо они, эти котята, не были похожи на нашего Мишку.

Глупый Мишка! Он думал, что я за ним сразу погонюсь, побегу. Потому-то он и выскочил! А потом, когда он хотел вернуться, он не узнал, а может быть, и не нашёл своей двери.

Они ведь теперь, двери эти, все одинаковые!



ЧЕРЕПАХА



У меня один знакомый, художник, под Москвой живёт, в деревне. Однажды он спросил меня:

— Хотите, я вам привезу черепаху?

Я отнёсся к его предложению безразлично и забыл о нём, но однажды в доме у нас в самом деле появилась черепаха. Я на неё наткнулся сразу.

Черепаха оказалась большой, никогда прежде таких не видел. Как тарелка большая. Мне сказали, что её зовут Тортила. Оказывается, так звали черепаху в «Золотом ключике».

Тортила к нам медленно привыкала. Она не любила показываться: пряталась под диван или под шкаф, а больше сидела под батареей парового отопления. Прошло довольно много времени, пока она стала выходить. Только есть ничего не ела. Правда, мы и сами не знали, что ей можно давать. Но зашла однажды девочка, подружка нашей дочки, и сказала, что черепахи едят всё, всяческую зелень: и капусту, и морковку тёртую. Даже мясо едят, пропущенное через мясорубку. Мы всего сразу накупили, побольше, того и другого. И поближе ей подложили. Но Тортила ничего не ела, ни к чему не прикоснулась. По-прежнему она лежала неподвижно, дремала.

Но иногда на неё что-то находило, и она принималась вышагивать по комнате. Особенно это случалось, когда по полу начинали скользить лучики солнца. Ворочала головой, слушала, смотрела на нас. Лапы у неё стучали.

Высоко поднимала панцирь и шагала медленно, затруднённо. Странно было на неё смотреть.

Но это случалось с ней редко, больше она лежала, прячась в каком-нибудь укромном месте. Иногда под ди-

ваном: там она забиралась в мешок и лежала там, грелась, она любила тепло.

Нас тревожило, что она ничего не ела. Без конца ей подставляли воду, молоко, но всё оставалось цело. Потом нам сказали, что сейчас зима и черепахи зимой не едят. Зимой вроде бы они как в спячке.

Это и правда: черепаха была вялая, она больше спала. Но один раз, когда опять выглянуло солнце и по полу задвигались солнечные лучики, Тортила выползла из своего укрытия и принялась беспокойно ходить по комнате. Но солнце зашло, и она опять влезла в свой мешок.

Чем ближе было к весне, тем чаще становились такие прогулки. Лапки у неё сморщились, но она по-прежнему ничего не ела.

Был уже май, а потом наступил июнь. Черепаха давно не спала, но и не брала ничего в рот.

Мне было не до неё. Я был увлечён, писал. Писал медленно... Обо мне уже говорили, что я работаю, как черепаха.

Она мне мешала.

Я ругал про себя моего художника, зачем он привёз мне больную черепаху.

Я подумывал о том, как от неё избавиться. Может, ей не хватало воздуха? Я завернул Тортилу в мешок и решил спуститься с нею во двор. Когда лифт рванул вниз, черепаха убралась в панцирь.

Перед домом у нас разбит сквер, с зелёным газоном и кустарником. На скамейках повсюду сидят пенсионеры, но я выждал, когда меня никто не видел, и пустил черепаху. Положил её за кустарником, в траву. Тортила вначале лежала неподвижно, потом она тихо-тихо стала двигаться вперёд. Но едва подняла она голову, её увидали ребятишки, катающиеся на велосипедах и роликовых самокатах.

Скоро жильцы дома — а дом у нас большой, в нём почти тысяча квартир — стояли около Тортилы. Люди преспокойно шли с работы, неся в руках авоськи с батонами, и вдруг говорили: «Ой, посмотрите, черепаха...» И забыва-

ли про все дела. Над черепахой стояла толпа. Черепаха пугалась, прятала голову и ноги.

Больше всего ей, конечно, не давали покоя ребята.

Я решил выносить черепаху по утрам, до того как уйду на работу, пока во дворе ещё никого не было и малыши спали.

Однажды, когда черепаха ползала по газону, а я сидел и сочинял что-то, поглядывая на неё из-за кустов, мне показалось, что черепаха открывает рот и скусывает листики. Но когда я, чтобы лучше видеть, приподнялся, она перестала. Так я и не узнал, ела ли она или мне показалось.

Во всяком случае, она заметно повеселела.

Последующие дни были холодными, трава мокрой, и мы опять сидели дома, и я видел теперь, что зря выносил её. Она опять сжалась, перестала высовывать голову и совсем не вставала на ноги. Заболела.

Надо было что-то предпринимать. Мы не знали, как быть с ней. Хотя нам и говорили, что под панцирем у черепахи скоплены запасы жира и потому она может долго не есть, но прошло семь месяцев, как она у нас поселилась, и за всё это время она ничего не съела. К тому же наставало лето: дочка должна была сдать экзамены и уехать к родным, у меня тоже предвиделся отпуск.

Кому-то из нас пришла мысль сходить в зоопарк и спросить, что с нашей черепахой, что надо делать с ней. Как она должна питаться.

Вскоре я был в районе Пресни.

Я взял билет и прошёл в террариум, на старую или, наоборот, на новую территорию. Однако террариум этот оказался закрытым на ремонт, вход был перегорожен доской. Я всё-таки пролез под неё. Но когда я вошёл в неосвещённое помещение террариума, в котором большинство клеток было открыто, сразу подумалось, может наброситься удав или, что ещё хуже, схватит крокодил.

Спасибо, какой-то мальчик шёл туда же, к матери шёл, и взялся меня проводить.

В террариуме было темно. Мы прошли через все эти крохотные малоосвещённые комнаты и наконец попали в ещё одну, где клеток никаких не было, но зато было одно

небольшое оконце. За столом здесь сидели две женщины, они держали в руках ножи и быстро резали на мелкие кусочки мясо.

Тут я узнал, что ни мой салат, ни самую лучшую морковь черепаха не станет есть... Оказывается, чтобы черепаха ела, надо ей, черепахе, нагреться до температуры тридцать градусов. Только тогда она в состоянии принять пищу. И потом надо ещё некоторое время поддержать эту температуру, чтобы пища могла перевариться. Если холодная черепаха съест что-нибудь, она погибнет...

Так что дома черепаху держать и нельзя. Другое дело — в террариуме, где круглый год черепахи сидят под светом ламп. Только летом могут они жить под солнцем, да на песке, на камнях.

— Если у вас большая,— сказали мне,— привозите её нам. Большую мы возьмём... Пусть у нас поживёт. Она, кроме того, и в обществе нуждается... Если захотите, сможете забрать её обратно...

Мы вышли из террариума, и заведующая подвела меня к загончику, куда на лето были «высажены» черепахи. Десятка три их было. Они ползали по земле и камням, забирались друг на друга. Но больше всего лежали на солнце. Доводили себя до нужной температуры...

На другой день мы отвезли Тортилу.

— Ой, какая она! — сказала девушка, кормящая черепах.

Когда её впустили, подошли ребятишки. Тортила наша имела успех. Все удивлялись тому, что она такая большая.

Она сначала ушла в сторону, но сразу же к ней подползли другие черепахи, совсем маленькие.

Хотелось бы мне знать, как-то она здесь приживётся?



ПУШИСТЫЙ ПЕРСИК

Конечно, я садовник неважный. Посадить-то я его посадил, и даже не один, а целых два. Но видно, поздно уже, в апреле. Первый саженец скоро пустил зелёные побеги и пошёл нормально развиваться, а потом и зацвёл. Через неделю во дворе горел уже этакий маленький живой костёрик... А второй — второй долго не подавал никаких признаков жизни. Я думал, отойдёт, а он уж засыхать начал. Гляжу, совсем погибает мой персик. Я тут всполошился: давай его отпаивать. Перво-наперво воду таскать стал. Утром и вечером. Вёдер по двадцать... Но он как он был, так и есть. Палка и палка. Дрючок голый.

У него, у саженца этого, корни плохие были, я понял это, когда ещё сажал. Да и земля оказалась никудышной — почвы плодородной не было вовсе. Один кирпич. Раньше

на этом месте, где я их сажал, дом стоял, во время войны его разрушили, а фундамент остался.

Вижу я, что дела у меня не будет. Никак он силу не наберёт: веток много, а корни маленькие.

Давай я его обрезать. Сначала только самые верхушки срезал, а потом — жалеть нечего, совсем пропадёт иначе — взял я да и обкорнал его. Обстриг у него все ветки, один ствол оставил. И опять поливаю, опять поливаю. А когда увидел, что у моего саженца всё никак почка раскрыться не может, срезал я ему ствол до половины. Почти под корень срубил.

Через два дня он мне дал листву и пошёл и пошёл распускать побеги, пошёл оформляться, вроде как принялся нагонять упущенное...

Удивительное деревцо было. Весной я его посадил, а к осени, в сентябре, сняли мы семьдесят четыре плода. И что главное — персик-то крохотный. У самой земли рос. Карлик вовсе. А плодов на нём столько, что непонятно, как они уместились на таком маленьком кустике. Уж ни листвы, ни веток. Один сплошной персик... На земле лежат.

Я когда самый первенький в руки взял, он был как цыплёнок. Жёлтый, мохнатенький... Очень смешной. Мы их, сколько их было, все в комнате сложили. Прямо на пол, на газеты... А сочный какой он, этот персик, ароматный. Такой запах держался, в комнату войти нельзя: зайдешь — дух захватывало. Вот ведь сорт удачный попался!

Я потом ни разу уж не пробовал такого персика.

Ещё не сказал, как и почему он мне попался, где я взял этот персик...

Я на базаре был. За капустой, да за картошкой для борща, да за сливами для компота ходил. Когда я возвращался назад через толкучку, я вдруг услышал: «Кому абрикосы! Абрикосы кому!..» Смотрю, мужик с возу сучки какие-то продаёт... Небольшие такие прутики. И никто их у него не берёт. Думаю, дай-ка я у него возьму... Мелочь у меня какая-то оставалась. Я и взял два саженца. Сразу их оба посадил. Место свободное во дворе было — недалеко от сараев.

Один саженец, тот, что получше, подлинней, поближе к дому посадил, а другой, поплоше,— у сарая, возле стенки.

Вот этот последний саженец абрикоса и оказался не абрикосом, а самым настоящим сочным сладостным персиком.

Сколько мы жили, год от году он всё больше и больше приносил плодов. Каждый год богатый урожай давал.

Только зимой он у нас на девочку больше похож был. Мы на него одеяние такое от холода придумали: платье серенькое ему сшили и халатик...

Мы уехали из того города. Но лет через пять, через шесть мне довелось снова приехать туда, и я зашёл в свой двор.

Что такое, я смотрю... Как-то уж очень хорошо меня встречают! Обступили, расспрашивают... А когда вместе жили — всяко бывало. Даже один отставной, мной не любимый, тот, что на своём участке вечно курочек пас, и тот прибежал, интересуется:

«А ваш-то персик,— говорит,— теперь уж у деда Мороза. К нему перешёл...»

Морозом называли у нас в доме Морозова — соседа нашего.

Что это, думаю, за персик... Я уж, признаться, забыл о нём.

«Мы,— они мне говорят,— все с него собираем. Всем понемногу достаётся. Ребятишки ещё и до сих пор его вашим зовут...»

Меня даже слёзы прошибли.

А тот, первый-то прутик, хотя он и превратился в очень высокое стройное дерево, оказался самым обыкновенным мелким абрикосом.



ЖИВИЦА

Бывает, какое-нибудь дерево заденут нечаянно, сдерут с него кору, а то по стволу и топором ударят, и к пораненному месту тут же сразу начнёт поступать смола. Дерево само её гонит, само лечит себя...

Даже если и совсем его спилят... То есть когда уж пенёк один остаётся.

Не все, может, знают, как старые эти пни корчуют...

От этих старых пней большая получается польза.

Когда сосну срезают, то из глубины — от корня — всё время безостановочно поступает смола... Тоже для того, чтобы место среза залить.

Ведь дерево, оно как: чувствует, что рана глубокая, но не знает того, что оно вовсе срублено. Думает, это только рана, и гонит, гонит, гонит живицу.

Не знает, что верхушки у него нет.



Гонит живицу, гонит смолу.

Пенёк такой с каждым днём всё более смолистым становится.

Первое время, когда пень молодой, он никакой ценности из себя не представляет. Обыкновенный белый пень. Но чем дальше, тем больше он накачивается смолой. Так что если старый, здоровый, нормальный пень лет двадцать простоит, так это уж и не пень, смола одна...

Всё время ведь врачует себя!

И вот, когда пень доспеет, его извлекают из земли. С корнем его выдирают... После чего разделывают этот пенёк на мелкие щепки и вытапливают смолу. То есть опять-таки живицу. Гонят из неё не только скипидар, но и камфару, и камфарное масло.

И из живицы той, что бежит по живой сосне,— может, видели, бывают такие желобки и стрелы вырезаны на соснах,— и из неё тоже камфару получить можно. Живица оживляет...

Даже когда человеку вовсе плохо, ему делают укол камфары, и сердце начинает работать.





КУЛИЧКИ

На землях Алтая, в степи, где теперь целина распахана, удивительно, как там много озёр. Вот уж действительно край озёр, а не только чернозёма.

Там есть, например, село, в котором сразу два озера, солёное и пресное. Одно солёное, другое пресное. Их только дорога разделяет, улица деревенская... То, которое пресное, оно зелёное, с водорослями, а солёное — белое, без всякой растительности.

Я сам купался в озере. Солёном. Дно у него — горячее. На дне этого озера, в чёрном вязком иле, есть свои микроорганизмы, они-то и нагревают почву. Так мне сказали...

Смешное вышло купание! Я лёг на воду и так лежал поверх воды. Как на доске. Почти не погружался... А потом перевернулся и сел. Как в кресле. Коленки кверху. Странная вода: в ней совершенно не тонешь — она сама тебя выталкивает, выкидывает наверх. Погружаешься в неё, конечно, но мало, так что один только зад в воде, а коленки наружу торчат.

Я так сидел и, чтобы не перевернуться, ладошками по воде пошлёпывал.

Вот какая вода, до чего плотная!



Мы, когда пожили там, узнали: жители села этого, они так делают — в одном озере купаются, в другом обмываются.

Но больше всего мне запомнилась поездка на Большое Яровое озеро... Правда, странное ведь название для мест, где никогда не рос хлеб?

Я этих мест никогда раньше не знал, попал туда уже после того, как поселенцы молодые приехали. Всё было уже распахано. На первых порах так увлеклись, что даже и выпаса распахали: скот пасти было совершенно негде.

На озеро нас директор возил.

Удивительный край! Я никогда не видел, чтобы орлы летали так низко и чтобы они садились невдалеке. Прямо на дорогу, на глазах.

Рядом, километрах в пятидесяти,— высокие горы, тёмные, густо поросшие лесом горы и ледники. А тут эта голая и ровная, как стол, жёсткая, сухая степь. И растёт на ней самая прекрасная, самая лучшая, какая есть, пшеница.

Я говорил уже, что мы приехали на второй год. Тогда, когда всё уже было распахано. Домов, правда, успели построить мало. В палатках жили. Трудно в этих палатках... Среди дня эта палатка так раскаляется, что в неё войти нельзя.

Но хлеб уже рос, и это — главное. В первый же год его народилось столько, что весь не успели убрать. Не справились. И теперь ещё, на прошлогодних токах и в траве, возле гнилых прошлогодних, прозеленевших буртов, валялась отравленная порченым зерном мёртвая птица.

Директор сам вёл самосвал. В кузове сидели ещё двое рабочих, решивших воспользоваться выходным днём, чтобы съездить на озеро. Мы сидели на охапке брошенной на днище грузовика соломы, и наши спутники весело рассказывали нам, мне и моему товарищу, работавшему на

уборке, как они приехали сюда, как сгоняли лис и волков с насиженных мест и забивали первые колы.

Только по нетронутым, непаханым бороздам да возле дорог, там, где остались кусты ковыля и типчак, можно было догадаться, какой эта земля была раньше, когда она была целиной. Она была пегая, сивая. Как борода старого казаха.

Долго мы кружили по отбелённой солнцем степи. Неторопливо перебегали дорогу суслики. Поля, засеянные рожью и чёрной пшеницей, перемежались полями, засеянными просто пшеницей. Об этой черноголовой, черноусой, угольно-чёрной пшенице нужно сказать подробней. Я и не подозревал, что есть такая пшеница, если бы сам её не увидел, не поверил бы. Колос совершенно чёрный! Я думал, что и зерно такое же чёрное... Но зерно оказалось белое.

Из этой пшеницы делают сладкие пирожные.

Зерно у неё настолько твёрдое, что можно получить самый тонкий помол.

Как раз такой, какой нужен на пирожные.

Было очень жарко. Гремела машина, звенели кузнечики. Внимательно оглядев нас, обжиревший суслик влезал в нору.

Мы долго катили по спекшейся, крепкой, необыкновенно ровной дороге. Нигде нет таких твёрдых дорог, как на степном чернозёме.

Мы круто повернули, и машина пошла вниз, под уклон. И не успели оглянуться, как въехали в глубокую балку, сплошь засаженную черешневыми деревцами.

Сад одичал. Руки у директора не доходили до него. Саженцы давно пора было бы окопать...

Когда мы вылезли из прокалённого, насквозь пробитого пылью жёсткого кузова нашего вездехода, я увидел это озеро. Его нельзя было бы не увидеть — мы стояли на берегу. Но берега другого — противоположного — не было. Только там, где ему полагалось быть, в мареве возносились ввысь тру-



бы какого-то завода, или это был мираж, я не знаю.

Озеро было зеркальным. Я ни разу не видел такой воды. Она была, как ртуть, серебристая, тяжёлая.

Я уже бежал в воду, на ходу сбрасывая одежду. И не сразу понял, что такое у меня скачет под ногами. Всё ещё не мог оторвать взгляда от Большого Ярового целинного озера.

Но когда, очнувшись, я взглянул вниз, под ноги, я увидел, что у меня под ногами, теперь уже не в траве, а по воде, в протекавшем здесь ручейке, плыли какие-то чёрненькие птички. Тут, в этом месте, в озеро впадал крохотный ручей, совсем маленький. Ключик. Но, впадая, этот ручей-ключик разлился, разделился на несколько ручейков и образовал своё крохотное озерко. Вместе это составляло маленькую чистую лужицу... Птички эти плыли по мелкой прозрачной лужице, плыли, задевая дно. Их было много, целый выводок. Когда я взял какую-то палку и бросил, я попал в нескольких сразу. Но я бросил не размахнувшись, я просто так кинул, и это не причинило им никакого вреда. Всё же они вспорхнули и улетели, но улетели они недалеко, тут же на берегу озера и сели.

Я посмотрел, чем я в них бросил. Это была кость. Обыкновенная жёлтая кость.

Мы разделись и стали купаться. А кулички мои — директор сказал, что это кулички,— вернулись обратно.

Когда мы искупались и высохли, мы были все в соли. Но поблизости пресного озера не было, и мы обмывались в ручейке, где жили эти кулички...



Я никак понять не мог, с чего бы все ребята во дворе вдруг начали строить. Я и забыл, что рядом с нашим двором, за стеной, неразобранная старая развалина. Ещё с войны осталась. Иду вечером по двору, а по двору и пройти нельзя. Везде кирпич, глина... Разор полный!

Тоже стенку какую-то кладут. Облепили её, как муравьи. И удивительней всего, что Лёшка и Филька здесь. Два самых драчливых на свете человека, мои соседи. Я их каждый день разнимаю...

Не все даже знают о том, что они братья, так мало похожи они друг на друга. Лёшка такой красивый, аккуратный. Страшно молчаливый. А Филька — длиннолицый, с пухлыми красными губами и с неизменно мокрым, простуженным носом. Крикун и задира.

Я уж привык, что дома они по всякому поводу пускают в ход кулаки и немилосердно колотят друг друга. А тут, смотрю, не дерутся, не разбивают сами себе носы.

Лёшка наверх, на кладку влез, а Филька — он долговязый, он и тут сумел перехитрить своего старшего брата, перерасти его,— услужливо подаёт ему снизу кирпичи.

Мигом забросили все свои игрушки и самокаты.

Бабка обед им прямо на стройку приносит.

Особенно Филька меня поразил... О Лёшке я не говорю. Лёшка всегда был трудолюбив, вечно ковырялся в песочке. Ну, а от Фильки я этого не ждал. Несмотря на драчливый свой характер, он больше дома сидел.

А утром сегодня выхожу, а Филька этот, маленький, уж во дворе... Я иду, а он с ведром и совком стоит возле кладки. Шмыгает своим красным носом и говорит мне:

— Я — первый. Никого ещё детей нет...

Так и сказал — детей.

Долго я не понимал, в чём дело: с чего бы у ребят такой задор появился?

А оказывается, экскаватор за стеной у нас вторую неделю копает...

Я когда в Москву приехал, первый год на Палихе работал. И туда каждое утро трамваем ездил. Трамвай этот, наверно, оттого, что всё время на подъём идёт, в гору, идёт очень медленно.

Идёт он по Большой Грузинской, потом по переулку Александра Невского, по 2-й Тверской-Ямской идёт и потом уже — по Лесной... Должно быть, самый медленный маршрут.

Один раз я так ехал, окна трамвая были открыты, и вдруг я увидел какую-то странную вывеску. Над маленькой остеклённой дверью было написано: «Оптовая торговля кавказскими фруктами. Каландадзе».

Наверно, я сто раз — не меньше, наверно,— проезжал мимо этой вывески, но только теперь её заметил... Только теперь дошло это до меня.

За стеклом лавки, в её окне, горкой лежали орехи, фрукты разные, инжир сушёный...

Трамвай давно миновал этот трёхэтажный кирпичный домик и уже отстоял остановку и медленно полз дальше, а я всё сидел на своём месте и думал, какой это Каландадзе такой, откуда он взялся.

Чушь какая! В Москве оптовая торговля какого-то Каландадзе! Нелепость.

Потом я вышел и забыл про вывеску. Но каждый день теперь она попадалась мне на глаза. И, не в состоянии будучи объяснить появление столь странной вывески в современной Москве, я начал строить всякие догадки и предположения.

И не мог ничего придумать другого: решил, что это старый, дореволюционный частный магазин. Частный магазин, который каким-то образом забыли ликвидировать... А что ещё могло быть! Единственный частный магазин в Москве.

Чепуха, конечно... Но дальше этого фантазия моя не шла.

Я долго ещё ездил по маршруту этого моего трамвая и, замотанный, заваленный работой по горло, так и не

удосужился слезть однажды с трамвая, посмотреть, что же там такое, почему Каландадзе открыл в Москве частную лавочку. Помню, несколько раз обещал себе встать пораньше, чтобы сойти на той остановке...

Может быть, я всё-таки бы это сделал, но вскоре я оставил прежнюю работу и теперь по преимуществу пользовался троллейбусом и ездил другими маршрутами.

Я позабыл бы о необыкновенной и необъяснимой вывеске на домике по Лесной улице, но дочка моя, которая теперь учится в том же районе, рассказала мне, как она однажды шла и увидела в окне все эти сладости — и урюк, и финики, и орехи-фисташки, и инжир, и чернослив — всё, что она так любит, и не утерпела, зашла. Зашла и даже растерялась. Она даже испугалась, в лавке никого нет, а сладости те — в мешках — прямо на полу стоят...

Странный дом.

Я так бы ничего и не узнал, но всё разъяснилось недавно: перелистывая один старый школьный учебник, я прочёл о большевистской нелегальной, подпольной типографии, в дни пятого года устроенной в Москве — в лавке Каландадзе.

Вот ведь в чём дело-то... Значит, там музей!





ДРУЖОК

Был у нас в батальоне один мальчишка, совсем маленький. Сирота. Мы тогда в верховьях Волги воевали. Лет восемь ему было. Он потом парень хоть куда стал. Подрос. Шинель ему сшили, сапоги.

Но это всё после...

А вначале — так было.

Стало нам известно, что часть наша в скором времени должна вступить в бой. Об этом сразу все узнают: комиссии приезжают, пополняют боеприпасы. Сухарей — каждому по пачке, по две.

Командир полка сам, как увидел у нас парнишку, ох и рассердился же! Он прав был, конечно: не забавами занимаемся, не такое время... Приказал немедленно же передать мальчика местным властям...

А мы уже и привыкать к нему начали. Но парнишку в бой не потащишь... Ночью выступать нам.

Сдали малого в местный сельский Совет, обо всём с председателем договорились. Проявить обещал заботу.

Комбат наш душой за него изболелся. Злой ходил, скучный, кричал на всех и здорово к нам придирался...

Совершили мы марш. Без больших привалов шли, километров, может, шестьдесят бросок сделали...

Остановились на ночлег в лесу. Ночью пришли, поздно.

И вот утром повар наш пошёл кашу варить. Открыл кухню, а мальчишка тот на дне котла лежит, калачиком свернулся. Спит. Один лишь чубчик белый торчит.

Повар решил никому не говорить пока. Старшине только одному рассказал. Оба они у себя его припрятывали.

Когда он отвинтил крышку, залез туда и притаился, никто этого не знает.

Повар после долго оправдывался: он, мол, и влез туда и сбежал ещё с вечера, перед тем как нам ночью выступить.

Всё обошлось потом. Все сделали вид, что так и надо. И комбат наш, когда его увидел, маленького и сразу растерявшегося, удивился, но тоже сделал вид, что он забыл уже и про деревню и про председателя, с которым сам же договаривался.

Старшине наказал только, чтобы парнишка пока что на глаза полковнику не попадался.

Так он, паренёк этот наш, у нас и остался... Прилепился, прицепился.

Прижился и жил у нас в части — делил с бойцами и кров, и пищу, и ложе в землянке, пока шла война.





ВОВКА ПРИЕХАЛ

В одном южном селе живёт у меня маленький племянник. Очень хороший, умный, но довольно упрямый парнишка. Его зовут Вовкой. Целый день он играет где-нибудь в углу двора, возле своего дома. Всегда один и всегда молча.

Этим летом Вовка с отцом приехал в Москву. С вокзала мы взяли такси и поехали к нам, на Ленинские горы. Вовку мы нарочно посадили рядом с водителем, чтобы лучше видел. Спрашиваю я, нравится ли ему Москва. Он сначала промолчал, вроде как раздумывал, отвечать ли ему, потом сказал, что дома маленькие. Но в это время как раз приехали мы в район, где дома восьмиэтажные и выше. Тут уж и он не мог сказать, что они маленькие.

Подъехали к шестнадцатиэтажному нашему дому и поднялись на наш тринадцатый этаж... Сразу же я подвёл Вовку к окну. С высоты Ленинских гор и с высоты дома, как

из самолёта, видна вся Москва. Вовка внимательно-долго глядел. Потом улыбнулся, ничего не сказал.

Пошёл осматривать квартиру, вертел краны. Потом мылся в ванной, плескался и только ухмылялся про себя...

Назавтра Вовке показывали Москву. Вернулся он усталый. Я ждал от него рассказов о впечатлениях, но он молчал. И я не выдержал — спросил, что он видел, был ли он в Кремле.

— А, ничего...— протянул Вовка.

— Как так ничего! — удивлённо вскричал я.— А Царь-пушку разве не видел?

— Видел...

— Так что же ты! Царь-колокол видел?

Да, он видел и Царь-колокол.

— Понравилось? — спросил я у него нетерпеливо.— Правда, какой большой?

— Да-а,— сказал он, глотая слёзы,— угол один отбит...

И тогда я понял, что Вовку ничем не прошибёшь.

И ещё я вспомнил, что я и сам был таким...



ЗУБ СЛОМАЛ

Были мы с дочкой в зубном кабинете. Конечно, девочка есть девочка, она уже от двери боится: стоит ни жива ни мертва.

Врач её сейчас же посадила в кресло, сказала, что бояться не надо, больно не будет. И пока готовила инструменты, рассказывала нам разные истории; я думаю, для того, чтобы найти подход к девочке. Рассказывала она ещё про одного своего пациента, мальчика:

— Я думала, он храбрый... Говорю ему: «Открой рот!..»

Она и раньше этого мальчика знала, он у них во дворе жил. Играл он с товарищами, упал, и зуб у него сломался.

— Усадила я его в кресло и наложила щипцы. Но только стала нажимать покрепче — смотрю, он плачет.

Вот тебе и раз!

Такой смелый был всегда парнишка — и заплакал. Я инструмент бросила даже, наклонилась к нему, спрашиваю: «Что с тобой, Юра, отчего ты плачешь?» А он и успокоиться не может, слёзы глотает... Я рассердилась, говорю: «Ну как тебе не стыдно, такой большой...»

«Да,— он мне сказал,— я любую боль могу терпеть, когда у меня зубы сжаты. А вы говорите — раскрой рот...»

Он совсем разрыдался. От огорчения, что так у него вышло.

Вырвала я ему зуб, но и сама расстроилась. Мне жалко его стало: хоть и маленький был, но все так его уважали. Говорил он всегда мало. Потому что он вырабатывал характер...

Девочка моя держалась хорошо, ни разу не пожаловалась. Хоть зуб и у неё был трудный. Только когда услышала «открой ротик», у неё закапали слёзы.

Девочка была она терпеливая... Как тот мальчик. Такая же.

ПОЖАЛЕЛ



Я люблю бывать в зоопарке и люблю постоять у клеток... В первое время, когда мы с женой только что приехали в Москву и нам ещё не было где жить, мы снимали комнату, которая выходила окнами в зоологический сад. По ночам мы просыпались и слушали, как у нас в комнате рычат тигры...

В любом городе, куда бы я ни приезжал, я старался попасть в зоосад. Так я побывал во многих, в Свердловске, например, или Уфе... В Кёнигсберге бывшем, в Калининграде нынешнем, где из всех животных при штурме города уцелел только один крокодил, да и то потому, я думаю, наверно, что он такой забронированный со всех сторон... Я простоял около него долго, и он даже не пошевелился.

В последний раз я был у зверей, когда моя дочка училась в пятом классе. То есть довольно давно...

Сначала её нельзя было оторвать от бассейна с морским львом. Его уханье мы услышали, когда ещё были у входа. Потом мы задержались у площадки с молодняком, где в одном загончике играли с ещё несмышлёными волчатами собачка, лисёнок и совсем ещё маленький робкий зайчонок.

Когда мы ещё стояли у площадки с молодняком, произошла такая история. Один мальчик, бродивший по зоопарку с дедом, потерял ключ от квартиры, который дед ему доверил носить.

— Что ты с ним делал? — спросил у него растерявшийся дед.

— Клетку хотел открыть,— отвечал тот.

— Какую клетку? — настаивал упорный дед.

— Мне тигра жалко стало!

Мальчик разрыдался, и дед никак не мог его успокоить.

ДЯДЕНЬКА, ДОСТАНЬ

Я только-только приехал на Кавказ и ничего ещё здесь не знал и не видел. Первый раз приехал.

День выдался жаркий, и всё вокруг было раскалено. Чтобы мне не идти по солнцепёку, я держался в тени, под деревьями. На пути моём, на тротуаре прямо, лежал маленький толстый малыш. Я чуть было не наступил на него. Он поднял вверх голову и взглянул на меня.

— Дядя,— сказал он, уставя на меня свои голубые глаза,— достань мне мушмулу.

Я никогда ещё не ел мушмулы и даже не знал, что это такое. Поэтому я наклонился и спрашиваю его глупо:

— Мушмулу? Какую тебе, зачем?

Он поднял на меня свои удивлённые глаза:

— Чтобы я кушал...

Смотрю я, над головой у меня какие-то плоды. Небольшие и жёлтые.

Ну как откажешь! Боязливо оглядываюсь на хозяйские окна. Подскакиваю и нагибаю ветку.

— И Тане,— сказал он, когда я подал ему маленькую незрелую ягодку.

А ну тебя, парень! Я из-за тебя на обед опоздаю... А главное же — каждую минуту на окна поглядываю... Хозяина боюсь.

Хотя опасность и велика, лезу ещё раз, чтобы и Тане сорвать... Где же она? Я не сразу её увидел... Стоит, такая маленькая, тут же, возле заборчика. Руки за спину прячет...

Дал я этой Тане и хотел уже идти, а малыш всё с той же своей улыбкой говорит мне:

— Ещё...

Что за ребёнок такой! Я давай скорей убегать...

И выждал ведь! И к тем, что ростом были поменьше, не обращался.

Сидел, выжидал, пока я подойду.



Жарко. Я иду по прибрежной узкой улице, по самому краю пляжа. Слышу только, как за косой зелёненькой загородкой и за пёстро раскрашенными ларьками погромыхивает прибой.

Впереди меня идут двое: мальчик и взрослый. Мальчик, он с белой чёлкой, с головой, стриженной наголо, всё время оглядывается. Он идёт и всё время гнёт голову куда-то в сторону.

Вот, прямо на дороге у нас, высокая железная коляска. На ней стеклянные трубки всех цветов и — прыскающий кран.

— Пап, купи воды с сиропом...— слышится голос мальчика.

Но рука отца уже ведёт его дальше. Отец высокий, и ему, маленькому, идти с ним неудобно: идёт он боком. И оттого, что он весь перегнулся, он идёт и прихрамывает.

Всё горит, всё сверкает и радует. И золотой этот пляж, и эти тонкие, направленные вверх струи, и крупная, белая, покрытая налётом соли галька, хрустящая под ногой.



Нет, никогда бы он так не торопился, если бы он шёл один!

Или вот этот дядя, продающий рыбок. Как медленно плывут они в зелёно-жёлтом, пронзённом солнечным лучом аквариуме. Это настолько интересно, что мальчик останавливается. Но та же рука взрослого тянет его вперёд.

— Пап, купи красную рыбку. Хоть одну...— доносится до меня.

Парень ни капли не обижается, что отец не обращает на него никакого внимания и как будто даже не слышит его...

Сразу за столом с аквариумом — киоск с канцелярскими принадлежностями.

— Пап, купи красный карандаш...

И действительно, столько интересного остаётся позади...

Повернув за ларёк, они спускаются вниз. Я некоторое время ещё вижу спину отца, его руку. На минуту задерживаюсь у киоска. Мальчика мне теперь уже не видать, но я слышу:

— Пап, купи мне...

ОТЕЦ

В дальнем конце двора копаются в горячем песке ребятишки. Я сажусь от них невдалеке и, как всегда, невольно слушаю их разговоры.

Беленькая и тихая девочка Люся говорит, что бабушка ей опять приносила мороженое. А Софа, для которой это больше всего говорится, не хочет, чтобы её мама уступала в чём-нибудь Люськиной бабушке. Поэтому она отвечает, что она сама вчера ела мороженое, и даже не одну, а две порции.

Здесь же — он пришёл сюда с Софой, со своей сестрой,— лобастый молчаливый Витька. Очень скоро ему становится невмочь слушать разговоры девочек и он — без всякой связи с тем, о чём говорилось,— заявляет:

— А наш папа всех выше!

Девочкам это, по-видимому, кажется преувеличением, они не соглашаются с Витькой.

— Наш папа,— утверждает он,— как дядя Стёпа!..

Девочкам смешно, но Витька не сдаётся:

— Мой папа — как море! — доносится до меня.

Снова все над ним смеются. Тогда Витька — он весь взъерошен — кричит с вызовом:

— Он такой, как весь мир!





ХМЕЛЬ НА ТЫЧИНКЕ

Каждая песня, даже если это обрывок песни, много говорит душе. Особенно если была она слышана в детстве. Так вот, казалось бы, и Потетень мой. Я от отца впервые слышал:

Тень-тень-потетень,
Выше города плетень...

Я думал тогда, что этот Потетень большой и толстый — белый, бородатый мужик, наш мельник. Не кто иной, как он... Весной у нас на реке плотину прорвало, и мельницу его унесло. Я сам своими глазами видел: и белые льдины, и этот домик — плывущую посредине реки мельницу.

Но сейчас вот она, опять шумит...

Не могу сказать, почему это так вышло, почему и Потетень и мельник долго были для меня на одно лицо.

Мельница — как раз напротив окна, на другом берегу. Под обрывом река, а на ней мельница... Однако это не та деревня, где я рос: там ведь был один только лес. Другая... За двором здесь был крепкий заплот — изгородь. И зелёные натоптанные лужайки, и выгон для скота.

Как раз такой же город, как в песне.

С мельником Потетень у меня соединялся ещё потому, что дальше такие слова в этой песне шли:

Тóлчет, мелет,
Пó воду ходит...
Вода — на болоте,
Мука — не молóта.

И с тем же местом у меня другая песня связалась. Опять же несколько слов — и, может быть, даже из того же стишка.

За рекой, сразу как перейти плотину, бор стоит. От берега лезут наверх многочисленные тропинки, они выводят на большую трактовую дорогу. Канавы усыпаны хвоей и размыты. Одуряющие запахи голубики и можжевельника.

А если углубиться в лес, там среди липняка и сосен попадается черёмуха, которую оплетает хмель. Я любил там бывать и любил забираться в черёмуховые заросли. И от черёмухи и от хмеля у меня всегда тяжело кружилась голова...

Может, потому и запомнил я так крепко его, вьющийся этот хмель.

Хмель на тычинке —
На самой вершинке!



ПЕРЕПОЛОХ

Солнце, выкатившееся из-за леса, всей своей тяжестью наваливается на меня. Постель моя как раз у самого окна. Я пытаюсь заснуть, я ещё не совсем проснулся, но меня будит сердитая, снизу откуда-то доносящаяся до меня перебранка.

«Проспали, дураки! Проспали, дураки!»

Это раскричались наши глупые, сварливые куры.

Но переполох этот, как мне кажется, устроили не куры, а соседские хлопотуньи-утки... Они первые стали спрашивать всех:

«Сколько время?.. Сколько время?..»

Молодой, энергичный наш петух услыхал это, растерялся и вдруг, не разобрав, в чём дело, и, неизвестно к кому обращаясь, прокричал:

«По-смот-ри-ко!»

Просыпающиеся куры и гуси долго ещё гомонили. Они не успокоились, пока петух наконец не сообразил, что к чему, и не вспомнил свои обязанности. И не проорал им, что времени всего пять часов утра.

Времени и действительно было мало, но куры, как известно, всегда боятся проспать.

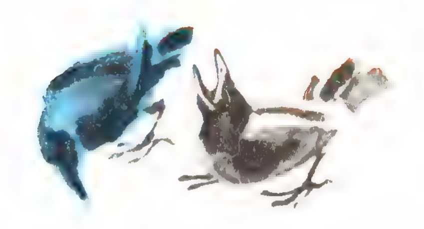


Всё это я слышу как в забытьи...

Я натянул одеяло, чтобы ещё немного поспать и, засыпая, слышал, как старый гусак наш, раздражённый вздорным пением петуха и всем этим истошным криком, бормотал про себя:

«Ну и народ... Ну и народ...»





ПТЕНЦЫ ВЫВОДЯТСЯ

На другой же день, как я приехал в эти места, я пошёл в лес. Лес и тут, как это было в моём детстве, был за рекой, на другом, крутом берегу, и когда переходил я мельничную плотину, до меня донёсся ужасающе резкий крик ворон. Я вошёл в лес, и крик этот был настолько сильный, что прямо хоть уши затыкай... Вороны раскричались. Вначале я подумал, что это перед дождём. И, лишь попав в лес, понял, что не в этом дело. Весь этот гам оттого лишь, что вывелись молодые птенцы. Они поднимают этот истошный крик.

И вправду — на каждой сосне было по нескольку гнёзд, одни выше, другие ниже. Надрывный вороний крик слышался много дней. Ещё бы! В каждом гнезде кричало несколько голодных ртов, требующих еды. Но больше всего доказывавших, что они хотят пить.

День стоял жаркий, дышать было нечем. Разогретая хвоя пахла смолой.

Едва я начал углубляться в лес, как стали попадаться подбитые вороны. Под ногами, в траве, всюду — то в одном, то в другом месте.

Я решил, что кто-нибудь стреляет их, балуется с ружьём. Потом лишь сообразил, что это не так: молодые птенцы сами вываливаются из гнезда. Они учатся летать.

В лес я вошёл утром, а возвращался к обеду, и разбившихся воронят на дороге под моими ногами было всё больше...

Прошло ещё несколько дней — и никакого крику не стало, всё смолкло. Все вывелись. Только кое-где ещё валялись разлетевшиеся вороньи перья. Одно я вдел себе в шляпу.



РАССКАЗ СОСЕДА

Как-то, в детстве ещё, я слышал, как одного человека змея преследовала. Конечно, много и чепухи рассказывают, но кто знает...

Известно, что в деревне мужики ходят покурить друг к другу. Чего только не говорят! Я совсем ещё был мал, когда я услышал это, но запало в память.

Человек этот шёл куда-то... Не помню, кто он был. Странник, что ли, какой. Или путник обыкновенный, прохожий... Раньше много ходили. С узелком, с палочкой.

Летним днём шёл этот человек по дороге. Он, видимо, устал и решил отдохнуть. Сел под дерево, посидел и опять пошёл. Оглядывается и что же видит: по его пятам змея ползёт... По колее. Голову подняла.

Он испугался, давай бежать от неё. Бежит, оглядывается, а змея не отстаёт. Оглянется — а она ползёт, оглянется — а она ползёт. Смотрит ему в затылок и ползёт, ползёт, торопится. Он обомлел.

Он остановится — и змея поглядит на него и остановится. Он прибавит шагу — и змея прибавит, не отстаёт от него... Совсем близко, правда, не подползает, но и убежать от неё нельзя.

Как он ни спешит, как он ни торопится, никак он не может избавиться от неё. Ему даже жарко стало. Он даже шляпу свою войлочную снял. Взмок весь.

Змея дошла до этого места и дальше не поползла.

Помню, я даже замер, слушая это...

Оказалось вот что. Когда этот дядька сидел под деревом, змея уронила на него свои змеиные яйца. Сверху на шляпу ему уронила. Или он сам их стряхнул с веток, на голову себе.

Она только за ними и ползла, за змеёнышами за своими...

Когда он махнул шляпой и увидел под ногами эти маленькие, серые, мягкие яйца, он сразу догадался, почему она ползла.

В то время я ещё не знал, вправду ли змеи выводятся из яиц... И когда я это слышал, я ещё не видел змей — не знал даже, какая она, змея, есть, и представлял их большими, не такими, как те, что водились в наших местах... Но я и теперь уверен, что я в точности передаю рассказ сидевшего у нас мужика.





ВЕТРЯЧОК

Родные места! Те же оврагами изрезанные поля, те же еловые лески вдалеке, за полями. Речка подбежала к селу сбоку, а на её отлогом берегу знакомая мне гурьба домиков... Вот и школа — где учился. Здание деревянное, двухэтажное и уже потемневшее.

Так хочется коснуться рукою этих стен. Хочется до самого конца пройти по улице... Как много тут всего памятного! Когда вернёшься в свои родные места, сначала ищешь приметы старого...

Сверху до меня доносится громкое напряжённое гудение. Жужжание. Подняв голову, я вижу на нашей школьной крыше ещё одно ребячье сооружение. Флюгер. Или пропеллер... Ведь здешние ребята всегда что-нибудь мастерили. Когда я был маленьким, у нас каждый что-нибудь мастерил: кто самокат, кто авиамодель.

Скоро, однако, я забываю про эту вертушку. И опять, и опять вижу своё, знакомое. Знакомые перелески и тополя.

Вечером я на пленуме райкома: выступает какой-то высокий юноша...

Пока он говорил, перед ним на трибуну двое ребят



поставили маленькую деревянную установку... Покручивая рукой крошечные крылья модели, объясняет он устройство ветроэлектростанции.

Узнаю, что это местный учитель... Учитель из моей школы!

Он в чёрном костюме. Со значком.

— Представьте себе,— говорит он,— что школа отказалась бы от дров... Если ветер перегнать в электричество, то у нас будет не только свет, но и тепло... И в домах и на фермах.

Мы идём с ним по улице села. Он говорит о себе, как приехал сюда из города и полюбил эти места... И уже не я ему, а он мне — он мне показывает моё село.

Оно пошло вширь, раздалось. Мы перешагиваем траншею, где прокладывается водопровод, и выходим на поляну. Здесь она и будет установлена, их ветросиловая плотина. Надо обязательно будет успеть мне повидать строителей электростанции. Почти все они — дети школьных моих друзей...

И опять я стою посреди улицы и смотрю на этот ветрячок, который так опрометчиво принял вначале за очередную забаву моих маленьких односельчан.



КРЫЛЬЯ

Мне не спалось, хотя давно уже была поздняя ночь. Откуда-то со двора доносилось однообразное, однотонное не то жужжание, не то журчание. Полуотворенное окно дышало прохладой... Будто большие синие крылья невидимо качались и гнали в окно новые струи воздуха.

Ещё утром сегодня, когда я открыл глаза, я испугался и сразу же понял, что проспал. В избе было темно: на улице шёл дождь. Радостное предощущение, с которым я просыпался, исчезло. Выглянув в окно, на улицу, я понял, что произошло. Под окнами у нас и посреди улицы стояли лужи. Повсюду, как реки, клокотали ручейки. Настроение было у меня вконец испорчено.

Нехотя натягивал я штаны. Не глядя в чашку, хлебал молоко, мрачно накрошив в него хлеб. Надеялся ещё, что дождь перестанет и погода наладится.

Не утерпев, я пошёл в сени. На стене в сенях, оклеенная бумагой, висела модель самолёта. Не без досады я взглянул на неё. Моторчик, сделанный из резины от старой галоши, опустился, провис...

Я лежал теперь и вспоминал, как я строил модель.

Как, когда другие ребята шли в лес, я оставался дома. Строгал, пилил! Ничего не видел и не слышал...

Теперь эта моделька сиротливо и одиноко висела на стене... Модель была простенькая — крыло да пропеллер, соединённый с хвостом модели резинкой, вырезанной из галоши. Вот и вся конструкция. Однако потратил я на это целых два дня. Вчера, когда всё закончил, я сразу хотел испытать модель. Но когда оклеил киль и стабилизатор и вышел во двор, на крыльцо, — было уже совсем поздно, стемнело. Пришлось отложить испытание до утра.

И вот этот дождь теперь, как назло, целый день...

День тянулся тягуче и однообразно. Я толкался во все углы, без цели ходил по избе, пробовал заняться каким-нибудь делом, но ничего у меня не получалось, всё валилось у меня из рук. Дождь всё лил, и нечего было даже надеяться, что он скоро перестанет, наоборот, он всё усиливался.

В полдень заявился мой отец. Папа работал на колхозном дворе, он был конюхом. С дождевика у него текло, он отфыркивался, отряхивался от холодной воды, от капель, блестевших у него на щеках и на усах. Дождевик свой отец снял ещё в сенях...

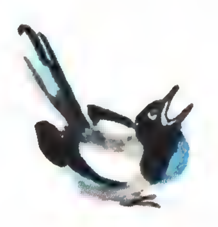
Дождь всё шёл, постёгивал, похлёстывал землю... Тяжёлые, большие капли стучали в стекло окна и по краю подставленной под самое окно, давно уже полной бочки.

Не было надежды, что ливень этот в скором времени прекратится.

Так я и заснул.

А утром, когда я проснулся, я увидел: в оба окна входило в избу солнце... Я даже в окно выглядывать не стал.

Сразу бросился в сени накручивать свою модель.





ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ

Куда ни глянешь — горы сырой, красноватой, вытащенной на поверхность земли.

Какой-то марсианский пейзаж.

И ни одного нигде человека... Как вымерло.

Пока ещё нельзя было определить, что тут было. Холмы земли, выброшенной наверх, балки, брёвна. И в складках между гор — тихие, таинственные малахитовые озёра, скорее всего та помеха-вода, которая выступает, когда разрушен водоносный слой.

Именно тут, у какого-то загадочного надводного недостроенного сооружения, мы увидели эту туфельку. Прямо на земле, в траве, скафандр, а рядом эти ботинки...

Но раньше, чем на них наткнуться, мы увидели стрелу экскаватора стокубового. Шагающего.

Виноват, четырнадцатикубового.

Заметили её ещё издали. Лезли наверх, поднимались, преодолевая взгорья разъятой и ещё не раскиданной земли, и тут увидали экскаватор. Не требовалось большой сообразительности, чтобы понять, что это он-то и вынул и взгромоздил здесь так высоко эту землю, роя, прорывая русло канала: то ли водоём, то ли канал... Это снаряд такой, что падает с большой высоты. Взрывает сначала землю, рвёт её на комки, а потом забирает себе в горсть.

Над горбом красной глины поднял он свою стрелу...

Сносившийся, совсем беззубый ковш экскаватора лежал тут же, мы сначала даже приняли его за кузов самосвала...

А то я уж было подумал, что это не на нашей земле!

Но когда до водолазной туфельки добрели, я тоже не знал, что это такое.

Я решил, что это какой-нибудь механизм.

Пригляделся повнимательнее. И шнурок, и дырочки для шнурка... Да это туфля водолазная! А вот и скафандр с круглыми стёклами...

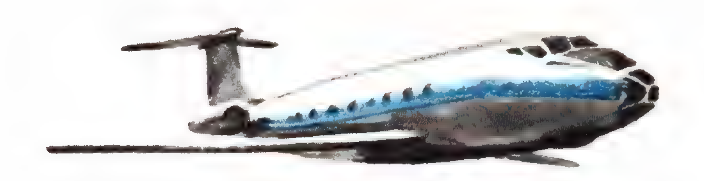
Да тут полный водолазный костюм!

Я, конечно, сразу же надел себе на голову марсианский этот синий шлем, а мой спутник хотел надеть ботинок, но попробовал его поднять и не смог.

Он оказался налитым свинцом. Подошвы-то у этой туфли — свинцовые. Пальца три толщина... Такой вот башмачок!

Я даже подумал, что сделано нарочно, когда я увидал этот ботинок. Подумал, какой великан тут ходил... Потом уже мне сказали, что это всего лишь водолазная туфля.





ГОРОД

Мы все хотели его строить... Я сам, когда его строили, хотел из дому убежать. С товарищем одним собрались... Как на фронт!

И теперь вот эта встреча.

Как я зорко ни вглядывался в круглое окошечко — на земле всё время была ночь.

Летим два часа, три часа летим. Пять часов! Все двадцать часов полёта — от самой крайней восточной точки вплоть до Москвы — летим в полной темноте. Ни мы не могли догнать солнце, ни солнце не могло опередить нас.

Мы летели в бесконечности.

И ни одной нигде светящейся точки! Ни одного нигде огонька! Видно, одна только тайга вокруг, болота и топи.

Нам сказали, что там даже снег выпал. И мороз, мол, и снег... И довольно большой мороз, градусов десять.

И вдруг будто окно открылось в туче, и я неожиданно увидел скопление огней... Я и представить себе не мог, что столько света могло быть заброшено в небо. Я думал сначала, что это Млечный Путь. Это и впрямь было похоже на Млечный Путь.

И только теперь, по этому свету внизу, я понял, на какой большой высоте мы летим. Будто я из космоса смотрел.

Мы летели и летели, а под крылом у нас рождались всё новые и новые огни.

Это — как зёрна жизни, вброшенные во Вселенную.

Машина, большая, погружённая в темноту, воздушная, плавная, будто рыба, приостановившая свой полёт. И эти всплывающие из-под самолёта огни.

В этом ещё потому было для меня столько таинственности, что никто этого не видел. В самолёте горела одна только синяя лампочка. Я сидел, прильнув лицом к стеклу, а вокруг меня все спали.

Я был единственным, кто это видел.

Потом разом всё кончилось, и, как раньше, как десять минут назад, настала прежняя плотная мгла, прежняя темнота. И в самолёте, и за бортом, за окном. Но потом ещё раз, когда самолёт развернулся, я увидел это скопление огней. Всё такие же яркие, но собранные уже в одном месте.

Как высыпанная на снег горсть углей...

Теперь, однако, этот раскалённый огненный островок как бы взлетел вверх, очутился на тёмном плато, на высокой горе. Как бы навис над обрывистым берегом и был не под нами, а выше нас... Он словно тонул в снегах. Но, конечно, это только так казалось, что вокруг зыбучие снега. Потому что, конечно же, никаких сугробов ещё не было, и не могло быть ещё. Только так казалось...

Потом уже я сообразил, что самолёт наш просто-напросто завалился на крыло, и от этого эти снега и эти огни очутились на горе. Когда же самолёт выровнялся, опять всё стало на место и этот остров огня опять под нами образовался.

Мы летели ещё часа полтора, а может, два, пока не сели в Хабаровске и пока вдали, всё ещё в темноте, не блеснула река. Амур.

Оказалось — я узнал об этом, когда мы заправлялись,— что этот город в тайге, на равнине, скорее всего, был Комсомольск.

Комсомольск-на-Амуре.



ПТИЦА

Я распахнул дверь, и разом ветер и вода ударили мне в лицо.

Я не моряк, поэтому не берусь судить о шторме, о его силе. Во всяком случае, была непогода. Накатывавшиеся на корабль валы приподымали корабль на себе. Ветер гудел в снастях, и кривые, быстрые, скручивающиеся струи дождя тотчас же полились по плечам и спине...

Ни одного человека не было на палубе.

С кормы тоже до меня доносились удары, слышался плеск. Там что-то ухало и раскачивалось.

Невозможно никак было понять, откуда дул этот косой пронизывающий ветер. Он не дул, а кружил. Сразу и ветер, и дождь, и внизу, за бортом, над палубой — падающие, летящие брызги летящих во все стороны, разбивающихся волн.

Сырой, холодный ветер Атлантики...

Уже не пряча лица от дождя и ветра, заботясь только, чтобы самого не смыло и не унесло в море, я направился на корму, откуда неслись эти грохочущие удары и хлюпанье. На мне был мой старый дождевик — прорезиненный, непроницаемый для воды плащ...

Но лучше бы мне сюда не ходить. Ветер тут дул уже со всех четырёх сторон, неизвестно откуда он дул. Нужно было всё время держаться за что-нибудь... Потоки воды обрушивались теперь не только сверху; дождь, хотя и был он частым, но был мелкий, и только из-за одного ветра свергался он не дождём, а струями. Будто лил не с неба, а из трубы или рукомойника.

Едва только я сюда добрался, как вновь раздался удар, сильный, наподобие пушечного выстрела. Я успел отскочить, но всё-таки меня окатило, обдав с головы до ног. Это — из плавательного бассейна забыли спустить воду... И теперь, при каждом толчке, который получало судно, она с гулом взлетала вверх, ударяла о стенки и выхлёстывалась, раскатываясь по гладкому настилу палубы.

Спасаясь от воды, я вскочил на возвышение, на какой-то ларь и схватился за слабенькую, тоненькую какую-то мачту... По-видимому — за флагшток. Мне было всё равно, за что хвататься.

Вихреобразный, кружащий у меня над головой циклон, свивая эти холодные струи, спускал их мне за ворот... Странное ощущение. Как если бы тебя толкнули под водосточную трубу.

Я даже не отворачивался, не уклонялся: вода текла уже мне под рубаху, и холодные острые струйки попадали в лицо...

В море было безлюдно: нигде ни дымка, ни мачты. Да и видимость была плохая... Ещё вчера, хотя вчера погода была хорошей, не видел я ни островка, ни мыса... Ни рыб, ни дельфина. Никаких признаков берега.

Я уже подумал, мы выходим в открытый океан...

А тут ещё этот шторм... И вода, и ветер, и эти волны, и горы дождя пополам с ветром... Вода, летящая через всю палубу.

Но, может быть, всё это видел только я, нечаянно вылезший сюда наверх в этот ранний час. Скорее всего, обо всём, что делалось в это время здесь, на палубе, вовсе не догадывались пассажиры, сидящие в тёплом чреве корабля. Как не догадывались и мои товарищи, живущие

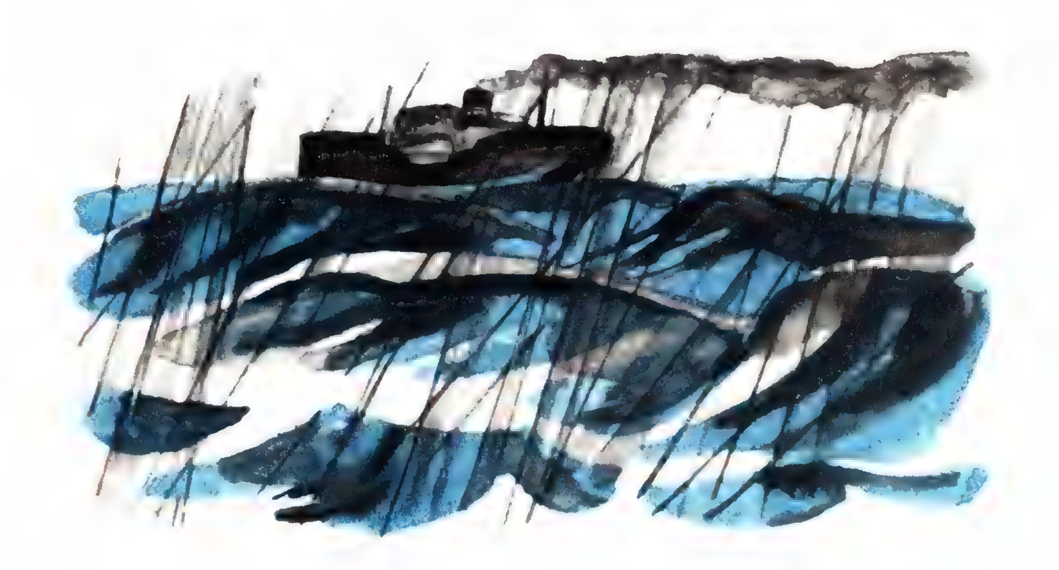
со мной в одной каюте. Когда я выходил, они говорили про какие-то свои дела.

Нелегко было бы сейчас их вытянуть наверх, на эту скользкую, мокрую, исхлёстанную ветром палубу, оттуда, из уютных, тёплых отсеков. И я бы тоже не мог на ней появиться, если бы не этот фронтовой мой плащ. Резиновый, блестящий, совершенно не пропускающий воду, похожий на гладкую дельфинью тушу, немецкий трофейный плащ.

Не удивительно, что один я вышел поглядеть, что делается теперь в море,— в то время как другие все сидели в каютах или лежали на койках, под одеялами... Я бы тоже не вышел, но уж очень я боялся пропустить что-нибудь интересное. Тем только всё и объясняется.

Я стоял и выжидал момент, когда мог бы обогнуть хлюпающий бассейн, и думал только, как побыстрее попасть в каюту. Плащ был короткий, и коленки у меня давно были мокрые.

Я держался за штангу и собрался перебежать расстояние до двери, ведущей в пассажирский отсек. В этот



именно момент налетел вихрь, и одновременно с этим новым сильным порывом-рывком ветра я почувствовал, как кто-то больно ударил меня в плечо и затылок. Я испугался, и отскочил, и сразу схватился за то место, куда меня ударили. Я тотчас почувствовал у себя под рукой что-то крепкое, вцепившееся в плечо... Какой-то ком — плотный и тёплый.

Даже не в плечо, а в шею и волосы.

Я с трудом отодрал это от себя и стал рассматривать то, что оказалось у меня в руках, что-то белое с сизым... Какой-то рассыпающийся, ни на что не похожий мокрый взъерошенный ком, растрёпанные, торчащие во все стороны перья.

Схватившись за это обеими руками, ещё сам не веря, не понимая, как надо держать, я приблизил к глазам и увидел в своих руках совсем уж что-то странное — чьи-то поднятые вверх лапы. Снизу, из-под большого пальца моего, глядел тёплый живой зрачок.

Я перевернул то, что держал в руках, только теперь сообразив, что держу я неправильно, и, взяв этот комок



как следует, сжав его сильнее, я заглянул вниз, на лапы. Мне показалось, когда ещё лапы эти были вверху, что на одной лапе был какой-то предмет, что-то круглое, тускло светящееся.

Я нагнулся взглянуть на ту лапу.

Да, действительно. Кольцо. Даже надпись. Я повернул широкий светлый ободок вокруг чешуйчатой тёмной лапки. «Готланд».

«С Готланда...» — мелькнуло у меня в голове... Мы проходили как раз близко от этой земли — острова, принадлежащего Швеции.

Я так и подумал, что, должно быть, это с тех островов, оттуда, должно быть, улетел он. Только накануне было сообщение в газете. Полигон там собирались открыть... Ах, это не на Готланде, я спутал,— на Гельголанде! Но — повсюду сейчас стреляют...

Я опять спохватился, увидев, что я всё ещё крепко сжимаю в руках птицу. Я думал, она улетит. Понемножку я освободил ей голову, а потом, посадив на рукав, совсем снял с неё руку... Она лепилась, прижималась ко мне, и я сообразил, что она никуда не улетит, потому что лететь ей некуда. Что я сам ей куда менее страшен, чем бушующий вокруг, разъярённый живой океан...

Чтобы нам не быть смытыми, я держался за всё, что попадалось на пути, и достиг двери салона. Вода, ударив о стенки бассейна, захлестнула ещё раз... Наконец мы добрались. И сразу — как только закрыл я за собой дверь — стало тихо, гул в ушах прекратился.

Спустившись вниз по железной лесенке, пройдя полутёмный коридор, я вбежал в каюту.

Каюта у нас была тесная, узенькая, но помещалось в ней нас четверо. Каюта на четыре лежака. Был в ней ещё небольшой шаткий столик и маленькая приставная лестница-стремяночка, чтобы взбираться наверх. Тому, чья постель была на втором этаже. И ещё: маленькое круглое окошечко иллюминатора, которое плохо закрывалось или мы не умели его закрывать, поэтому в каюте у нас всё время была вода.

А пароход наш — вернее, теплоход — был большой. Принадлежал он Германии и считался собственным судном Гитлера. Теперь он был сильно переделан, перестроен.

Вчера мы стояли в Стокгольме. Из Стокгольма мы отправлялись уже поздно, ночью, и, не дождавшись, пока отойдём, легли спать. Ночь всю мы были в открытом море, и сегодняшнее утро тоже. За всё время не показалось ни одного островка, да и пароходов встречных тоже больше уже не попадалось...

Мои товарищи, когда я вошёл в каюту, не знали, что такое я им принёс. Пока я стаскивал с себя плащ, я рассказывал, откуда взялся в нашей каюте столь неожиданный гость...

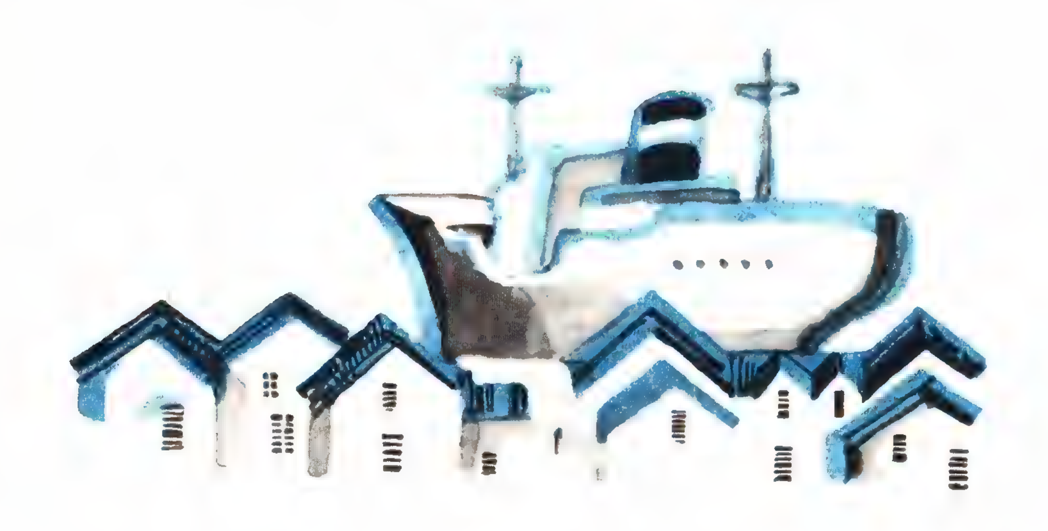
Один из моих товарищей, татарин из Казани, впервые ехавший смотреть Европу и впервые путешествующий теплоходом в море, обеими руками держал птицу и с удивлением поворачивал её из стороны в сторону, рассматривая это не просохшее ещё, пёстрое, пёстро-пернатое — необычное — топорщащееся создание.

Так её растеребило, бедную, что нельзя было понять, что это такое в руках. Какой-то пук перьев!

— Ты посмотри,— сказал я, укрывшись за шкафом и надевая на себя что посуше.— Я там кольцо видел...

Но он не мог найти никакого кольца, и, пока сообразил, где что надо искать, я развесил мокрые штаны и рубаху, отобрал у него мою птицу и, прижав к себе, к коленям, положил её на бок. Повёртывая довольно свободно посаженное на лапке толстое алюминиевое кольцо, я наконец разобрал эту надпись. «Holland».

Почему вначале прочёл я по-другому? Откуда взял я, что это Готланд? Ясно же, кажется, тут сказано — «Holland». И я знаю, что это такое. Это — Голландия. Нидерланды! Низкая земля. Земля — страна, лежащая ниже уровня моря... Я ещё это в школе, в младшем классе, знал. Мы читали — в первой ещё книге — о голландском мальчике, который спас свою родину. Этот паренёк, увидав дырочку, через которую сочилась вода в плотине, отделяющей страну от моря, заткнул её пальцем. И так, весь посинев, он



держал и плотину и море, пока не прибежали люди, не сменили его, не укрепили дамбу. Я очень долго помнил про этого хорошего мальчика...

Значит, и эта странная гостья, так неожиданно, в столь ранний час прибитая к нам непогодой,— из Голландии... Кроме всего, она окольцована. На кольце проставлен ещё и год и номер. А мы как раз плыли в Голландию...

Я закрыл иллюминатор и посадил птицу в наше единственное маленькое окно... Так она и сидела, небольшая, растрёпанная, в белом светлом круге окна.

В первое время никаких собственных планов по отношению к птице у меня не было. Что с ней дальше делать? Выпустить сейчас или оставить ночевать и выпустить потом, когда она немного придёт в себя и погода улучшится?.. Будь это какая-нибудь обыкновенная, какая-нибудь простая птица, но это кольцо на лапе...

Многочисленные сомнения стали теперь одолевать меня. Я просто рад был ей и жалел, не мог понять, как это ей, такой истерзанной, такой настрадавшейся, удалось прибиться к кораблю. Не упасть в море.



Она сидела в иллюминаторе и поводила головой, понемногу успокаиваясь, отдыхая. И это было неожиданно и очень красиво. Хотя вид её был всё ещё жалок, но шейка у неё была гордая... Ни один человек на всём теплоходе, кроме четверых нас, про неё пока ещё не знал. Это была наша тайна.

Мы налили ей воды и долго решали: кормить — не кормить хлебом. Мы совершенно растерялись, не знали, чем её надо кормить... Потом мы накрошили ей каких-то крошек. Но она ничего не ела.

Мы плыли всё тем же Балтийским морем.

Корабль наш всё ещё покачивало. К полудню большие волны немного улеглись, стали пониже и поменьше, ветер ослаб, дождь постепенно прекратился. А сам теплоход теперь шёл быстрее. Кое-кто из пассажиров даже вышел на палубу.

Тем временем слух о жильце нашей каюты распространился по всем палубам.

Сам капитан пришёл взглянуть на нового пассажира.

— Покажите, покажите...— большим густым голосом сказал он, входя к нам.

— Чудак,— сказал он, услышав о моём намерении.— Зачем же вам его выпускать? Везите домой... Это — голубь. Будете его у себя под Москвой держать на даче...

Он считал, что я живу в Москве. К тому же, как и многие, он считал, что все писатели у нас имеют дачи. Пусть так, я не стал с ним спорить... Мне было стыдно за другое — за то, что я не узнал голубя, не сразу понял, что это голубь. Я таких никогда не видел. Впрочем, и мои товарищи тоже не догадались... У этого голубя был такой не голубиный — длинный, пёстрый хвост и высокая, такая длинная шейка. Главное, весь он был взъерошенный, не похожий на себя.

Да и не голубятник я. Сроду им не был, сроду у меня не было ни одного голубя... И потом — я таких голубей никогда не видел, я привык у себя в деревне видеть голубей, тяжёлых, как куры. Перелетающих с одного овина на другой. Но чтобы голуби летали в открытом море! Разве может голубь летать в такую даль?..

— Никому не отдавайте, везите его в Россию,— говорил мне наш капитан.

Я видел, как неохотно он расставался с этой моей странной птицей, столь неожиданно оказавшейся голубем...

— Да за такого голубя,— не мог он успокоиться,— всякий отдаст вам что угодно... Вам он достался — вы им и распоряжайтесь...

Капитан ушёл. Но в ближайшие несколько часов мои товарищи и я не знали, куда деваться от посетителей... Желающих попасть к нам в каюту и посмотреть на голубя, которого корабль наш встретил в море, оказалось очень много. Каждый считал нужным дать какой-нибудь совет, и все восхищались его мужеством. Один собрался писать очерк для «Комсомольской правды», другой пришёл фотографировать меня с этим голубем. А некоторые даже шутили: надо, мол, о таком случае телеграфировать в Москву...

Для меня настало беспокойное время. Я уж пристраивал ему под окнами у себя клетку. Представлял, как он важно будет выглядеть с белым кольцом. Мой невиданный голландский голубь, какого нет ни у одного самого заправского голубятника.

Однако пора было придумать, куда его деть. Он довольно уютно устроился на висящем над столом динамике. Но, конечно, держать его всё время в каюте нельзя было, и я отнёс его на шлюпочную палубу. Там, наверху, он и жил у меня в клетке, и я таскал с кухни ему туда, на верхнюю палубу, хлеб. И крупу. Всё, что удавалось достать. Я разыскал на этой палубе две клетки, о которых мне сказал капитан, и тайно от всех, чтобы пассажиры не знали, посадил в одну из них голубя. Всё было предусмотрено на корабле... По-видимому, клетки были сделаны на всякий случай: для собаки, а может быть, и обезьянки. Если бы такая оказалась на судне. Для любой другой живности... В ней можно было держать и кур для столовой. Я пробирался тайком, боясь, что меня увидят, тащил что-нибудь моему голубю. Хотя бы воды в стакане.

Первое время он совсем ничего не ел, сидел в уголке, жался и зябко закрывал глаза, боялся смотреть на еду. Я думаю, его всё ещё мутило. Потом он стал понемногу подбирать то, что я ему приносил. Но только тогда, когда я уходил.

Мы шли уже Кильским каналом; канала, впрочем, с палубы не было видно, и впечатление было такое, будто мы плыли среди полей и рощ, и западные немцы, узнав наш корабль и флаг, немцы, сидевшие против нас в окопах в России, кричали нам теперь с берегов кто приветствие, а кто и ругательство... Но я мало смотрел на эти берега и на эти чистенькие, знакомые мне городки,— я выхаживал своего голубя. Через железные прутья подавал ему всё новую, доставаемую мною еду: то нарубленную морковку, то кусочек апельсина. Так я бегал — вверх и вниз — с палубы на палубу и таскал и таскал ему... Он уже всё ел, и его маленький добрый глазок глядел теперь на меня веселей. Я пришёл под утро сменить воду и увидел, что он

спокойно переваливался с одного боку на другой, расхаживал по клетке и сидел, поводя головой...

Если бы я писал вымышленную или приключенческую повесть, я бы, наверно, провёз этого голубя по всем странам, я бы прошёл с ним по площадям Гааги и Роттердама, Парижа и Гавра, по улицам Рима и Неаполя — всюду, где мы побывали в те дни, куда нас возили. Влез с этим голубем на Акрополь. Или передал бы его хотя бы голландским пионерам, что ли, которые нас очень хорошо встречали в Роттердаме, в порту.

Но я пишу правдивую историю, поэтому, когда на другое утро я поднялся на верхнюю палубу и подошёл к клетке,— его не было... Одна подстилка и кусочки каши, которую я принёс ему в последний раз.

Я тщательно осмотрел всё вокруг, и, как мне показалось, верёвочки на дверке были развязаны. Я оглядел мачту и всю оснастку: думал, он где-нибудь сидит. Нигде ничего.

Признаться, мне стало жаль его. Видимо, думал я, кто-нибудь из пассажиров, случайно увидев моего голубя и не зная, что у него есть хозяин, выпустил его из клетки или взял его себе... Я даже ходил и спрашивал у всех, не видел ли кто моего голубя. Но никто ничего не знал и никто не видел.

Вечером того же дня мы пришли в голландский порт...

А может, голубь мой почувствовал близость берега?

В Голландии, хотя мы и были там недолго, но всё-таки поездили по её зелёненьким польдерам, всходили на её дамбы. И когда мы осматривали одну плотину, я поинтересовался-таки, где, в каком месте, герой-паренёк засовывал свой пальчик, спасая страну. Но наш самодовольный, длинный голландец-гид — молодой, в рубчатых длинных штанах, который и без того иронизировал над всем, что мы ему говорили,— не верил, когда я говорил ему про этого мальчика. Он не верил, когда я ему об этом говорил, и даже насмехался. А я верил...

Он даже повторял, что никто в Голландии ничего не знает об этой истории, и спрашивал меня, когда это было.

Я хотел было сначала спросить, узнать у него про голубя, что за птица с кольцом, но я не стал этого делать. Во всяком случае, уж не он его пускал...

Долго ещё, даже когда мы прошли Атлантический океан и шли Средиземным морем, очень многие, встретив меня на палубе, спрашивали, как он чувствует себя, мой голубь.

Алюминиевое кольцо с номером 842449... Довольно большой номер!

Надо бы мне хоть кольцо оставить...





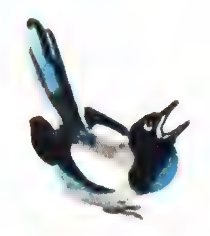
Василий Ефимович Субботин родился в 1921 году в Кировской области, в семье крестьянина. Раннее детство прошло в Западной Сибири. В юношеские годы работал в колхозе и на угольной шахте. В годы Великой Отечественной войны был танкистом, башенным стрелком, затем журналистом, корреспондентом дивизионной газеты. Вместе со своей дивизией участвовал в боях за Прибалтику, в освобождении Польши, в боях за Берлин.

В послевоенные годы жил в Крыму и на Урале. Учился в Литературном институте.

Ранние стихи печатались во фронтовых газетах. Первый сборник стихов Василия Субботина вышел после войны — в 1950 году. Вслед за этим выходят книги: «Героическая баллада» (1953), «Танки в траве» (1957), «Земное лето» и «Живая память» (1962), «Книга моих стихов» (1964). В 1965 году в издательстве «Детская литература» была издана книга рассказов Субботина «Мальчик на дельфине», фактическим редактором которой был Самуил Яковлевич Маршак, заботливо следивший за судьбой молодого поэта и прозаика. Вышедшая в 1966 году («Роман-газета») книга Василия Субботина «Как кончаются войны» рассказывает о последних днях войны. В основу её легли непосредственные впечатления автора, участвовавшего в штурме рейхстага...

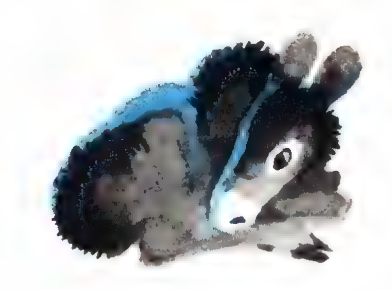
В 1973 году вышла его книга рассказов о писателях — «Силуэты».

Стихи и проза Василия Субботина переводились на многие языки.



СОДЕРЖАНИЕ

5 Первая книга
8 Снегу навалило
11 Серые
14 Гадюка
16 В стужу
18 Дорога в школу
20 Медвежонок
21 Весна



22 Огоньки
24 Лоси
26 Крабы
29 Мальчик на дельфине
33 Голубой реликт
36 Грибы-ягоды
39 Вымороэок
41 Смешная белка
44 Про клеста



47 Собака
51 Мишка
56 Черепаха
60 Пушистый персик
63 Живица
65 Кулички
69 Мальчики
70 Лавка Каландадзе
72 Дружок
74 Вовка приехал
76 Зуб сломал
77 Пожалел



78 Дяденька, достань
79 Сын
81 Отец
82 Хмель на тычинке
84 Переполох
85 Птенцы выводятся
86 Рассказ соседа
88 Ветрячок
90 Крылья
92 Воскресный день
94 Город
96 Птица





Для младшего школьного возраста

Василий Ефимович Субботин

ПЕРВАЯ КНИГА

ИБ № 1307

Ответственный редактор С. В. Орлеанская
Художественный редактор Л. Д. Бирюков
Технический редактор Н. Ю. Крапоткина
Корректоры В. В. Кудинова и Г. В. Русакова
Сдано в набор 17/III 1977 г. Подписано к печати 2/XII 1977 г. Формат 70×90/16. Бум. офс. № 1. Печ. л. 7. Усл. печ. л. 8,19. Уч.-изд. л. 5,4. Тираж 150 000 экз. Заказ № 694. Цена 50 коп.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата Совета Министров РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Субботин В. Е.

С89 Первая книга. Рассказы. Худ. В. Лыков, М., «Дет. лит.», 1977.

111 с. с ил.

Книга носит автобиографический характер, в неё входят рассказы и истории, свидетелем, а иногда и участником которых был сам автор.

С $\frac{70802-563}{М101(03)77}$ 201 — 77

Р2







Цена 50 коп.



